

Д-793-п.

119296

ТАТЬЯНА ДУБИНСКАЯ



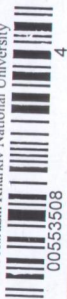
ПУЛЕМЕТЧИЦА

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА • 1936

Цена — 1 р. 50 к.
Переплет — 50 к.

Склад № 12
Литхудсектора КОГИЗа
Средний Кисловский пер., д. 3
Книжные магазины
Из-ва „Советский писатель“
Ул. Горького, 20/2 и 12

V.N. Karazin Kharkiv National University

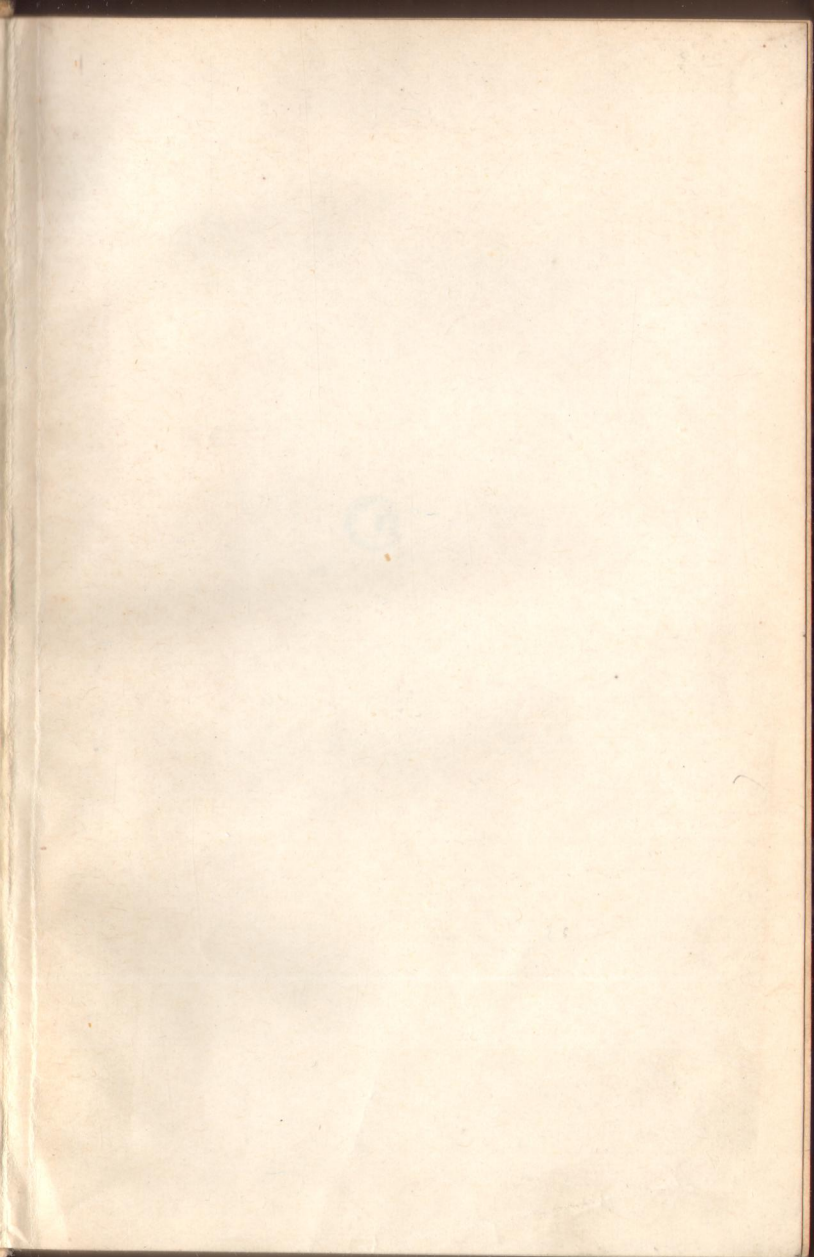


ТАТЪЯНА
ДУБИНСКАЯ

УШЕ МЕТ
А

B





7



Д 793-п.

ТАТЬЯНА ДУБИНСКАЯ



ПУЛЕ МЕТЧИЦА



ИЗ ДНЕВНИКА
МИРОВОЙ ВОЙНЫ



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА 1936

Проверено
ЦГБ 1939

ПРОВЕРЕНО
ЦНБ 1945

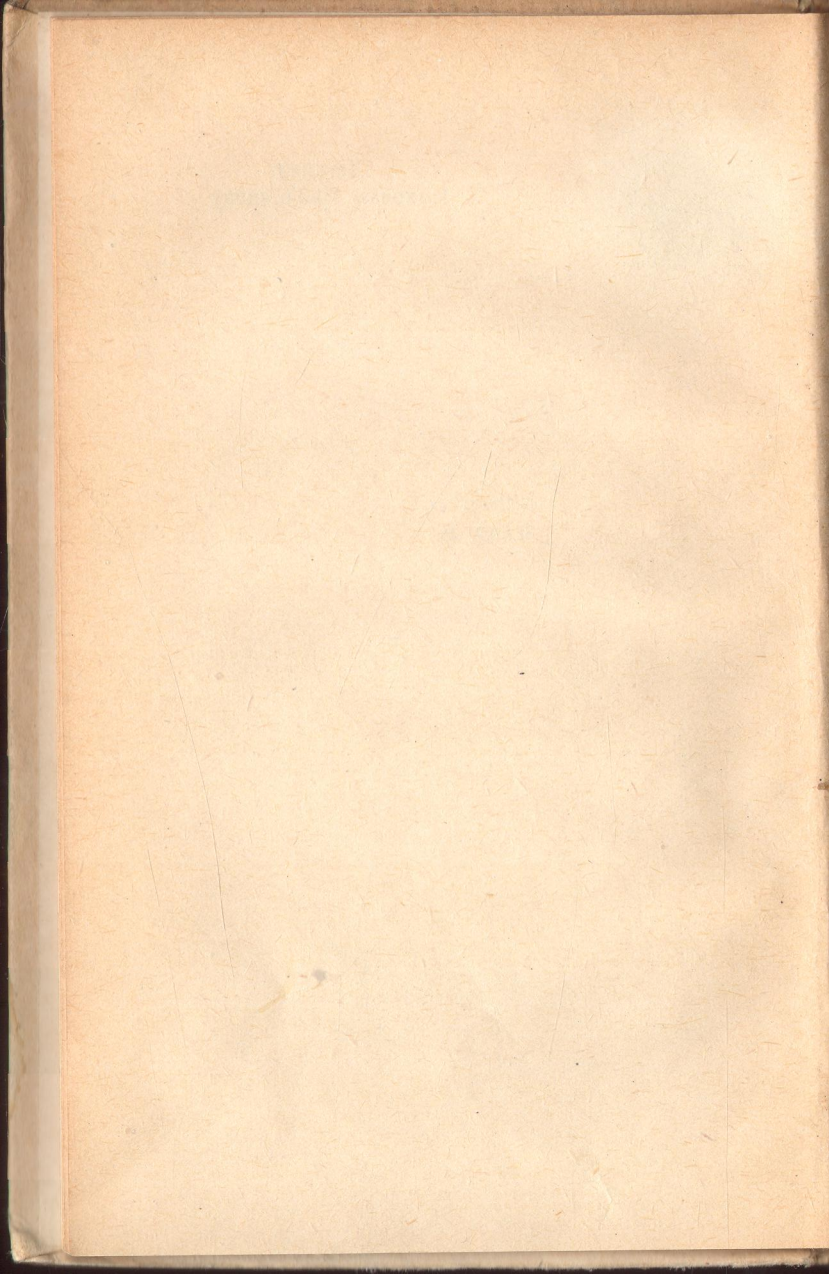
58

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНО-
БИБЛИОТЕКА
Ин. № 119296

ХУДОЖНИК

М. ФРАМ

Летчику
Николаю Иноземцеву



Глава первая

Поезд мчал маршевые роты к границе.

— На войну, значит, братцы, едем.

— Я на ярмарке в Туле молодую кобылицу купил, телегу починил, спицы в красный цвет покрасил, свадьбу отпировал, и прощай, моя молодуха.

— Жеребец у меня весной издох. Семейство без него, кормильца, осталось. Год деньги на него собирал. Под киотом берег... Все отдал до копейки.

— Чего разнюнились, ребята. Война-то, говорят, аккурат через месяц-другой кончится. И обмятаться не успеем.

От махорочного дыма душно стало в вагоне. Я слышу, встал человек, загремел тяжелым засовом широкой вагонной двери.

— Задувает под утро-то. Холодно.

— Какой зябкий. Зачем дверь закрываешь? И без того дыхания нет никакого.

Солдаты улеглись. Дверь не закрыли.

*

Утро. Пора выходить из своей берлоги. От неудобного положения ноет тело. Будь что будет, — я выбираюсь из-под нар.

— Что за оказия? Что оно такое?

— Ты откуда взялся, малец?

— Я Сережа. Мне семнадцать лет. Возьмите меня с собой на войну. Я солдатом буду служить, на войну возьмите.

— Зачем он нам? Высадить его, ребята.

— Не трожь. Пускай едет.

— Так, с виду — как бы мой сынок. Вовсе как мой Петька. Пускай едет.

На остановке солдаты принесли котелки, наполненные щами. Поставили их на пол. Сели кружком.

— На, ешь.

Белобрысый веснучатый солдат вытянул из-за голенища деревянную ложку и протянул ее мне. Я была голодна, но эта облезшая ложка отбивала аппетит. Я взяла перочинный ножичек и, отвернувшись от солдата, поскоблила ложку.

— Чего ковыряешь? Ложка мне дареная. Мать подарила. Не тронь, говорю. — Мне стало стыдно солдата. Краснея и обжигаясь, я ела щи.

*

Станция Казатин. На платформе толпа людей. Между шпалерами жандармов про-

ходит генерал. Он идет к нашему поезду и обращается с короткой речью:

— За веру, царя и отечество — с богом, солдаты, вперед. — И, как-то вкривь улыбаясь, генерал отрывисто выкрикивает:

— Ура! Ура!

Из толпы вырвался вопль:

— Родненькие, куда ж вы...

Медленно тронулся поезд. Генерала окружили офицеры, а справа и слева от них построились солдаты. Усилились рыдания. Загремел оркестр. Отчетливей застучали вагонные колеса. Больше не видно было генерала. В сумерках вырисовывались лишь штывы его охраны. Все дальше и дальше уходил поезд.

*

После пятидневного путешествия нас выгрузили на станции Броды. Роты остановились у большого серого здания. На воротах надпись: «Штаб N-ой армии». Люди томительно ожидали дальнейшего маршрута. Наконец из дверей штаба вышли офицеры, раздалась команда: «Равняйся, по порядку номеров рассчитайсь!» — и снова зашагали люди. Возле коменданта города солдат не надолго задержали. Комендант города, усатый ротмистр, дошел до нашей роты. Он подозвал к себе ротного командира:

— Поручик, это не годится. Запрещено всяким мальчишкам следовать за полком. Обуза от них. Завтра по этапу отправим на родину.

Я не могу сдержать слез. Руки трясутся, силясь расстегнуть большую санитарную сумку. Я вытаскиваю оттуда первый попавшийся мне перевязочный бинт. Сморкаюсь в него. Так вот для чего понадобился мне мой первый перевязочный бинт, заготовленный еще дома для раненых.

*

В камере со мной сидит женщина. Она берет жестяную кружку с водой, брызгает из нее воду на носовой платок и прикладывает к синей опухоли под глазом. На голове у нее коричневый платочек, туго стянутый под подбородком. Лоскутья ее грязного платья едва прикрывают белое-белое тело. Женщина смотрит на меня, из-за пазухи она достает папиросы и предлагает мне закурить.

— Ты, значит, на фронт задумала? Дело, — хриплым голосом проговорила женщина и вдруг закинула ноги и, примостившись у меня на коленях, устало посмотрела на меня. Я сидела не шелохнувшись. Боялась дышать. Под загнувшейся юбкой женщины виднелись с красным бантом желтые подвязки. Ее стоптанные черные туф-

ли, выпачканные в белила, спадали с ног. Женщина перевернулась на бок, приложила руку к опухшему глазу и, протяжно застонав, уснула. Я не боялась ее больше. Мне захотелось погладить ее светлые волосы. Откуда она? Кто сделал больно ее красивым глазам?

Слегка приподняв ее голову, я наклонилась к воде и поднесла кружку к губам. Резкий толчок в мой локоть, — вода расплескалась. И с грохотом покатилась кружка.

— Не пей, девка, я с сифоном хожу.

Женщина поднялась, чиркнула спичкой и задымила папиросой.

В коридоре чьи-то быстрые-быстрые шаги. В нашу камеру втолкнули мальчишку.

— Мы тебе покажем, как их благородие дразнить. Мы тебе урежем язык, чорт вихрастый. — Мальчишка встряхнул волосами и улыбнулся. Дверь захлопнулась.

— Как тебя зовут?

— Зиной.

— А зачем ты солдатом одета?

— Я на войну пойду.

— Ты девочка, и тебя на войну не пустят. А как ее зовут?

— Не знаю.

— Вместе сидите, и ты не знаешь?

— Меня зовут Анной Филипповной.

— А почему у тебя фонарь под глазом?

— Насчет фонаря тебя это не касается.

— Зина, а кто тебе ружье даст?

— Командир.

— А командиры сами делают ружья?

— Нет. Их на заводе делают.

— А я сам сделал и никому ружья не отдам. Только я с немцами не ссорился и в них стрелять не буду.

— А в кого?

— В собак, если будут бешеные.

В камеру постучали.

— На станцию, к отправлению по этапу вставайте, голодранцы.

Мальчик поднялся, выпрямил грудь и, заодно приложив маленькую чумазую руку к вихрастому виску, отдал честь солдату.

— Ну, что ж, идемте, дяденька.

Не успели мы выйти из ворот, мальчишка опрометью бросился бежать по дороге, конвоиры преследовали его. Воспользовавшись суматохой, я нырнула в первые попавшиеся ворота какого-то домика и забралась в огород. Лишь на рассвете я покинула приютившую меня высокую кукурузу. Я вспомнила свою вчерашнюю ночную соседку: почему она не побежала со мной? Разве ей было все равно?

Глава вторая

Я живу в землянке с двумя разведчиками, Сашей Гусевым и Трофимом Терехиным. У Саши белые курчавые волосы, а глаза синие-синие. Брови темные, а губы цвета спелой малины. Словом, то, что называется писаный. Сашка расстегнул ворот гимнастерки, из-под которой виднелась вышитая кумачевая рубашка. Такие я видела в праздник на заводских парнях.

— Сашка, подбери вышивку-то: ротный увидят, попадет тебе. И шнур спрячь,—уготоваривает Сашу Трофим. У него дремучая борода, а лицо коричневое, словно он загорелым родился. Трофим съел кашу, встал с лежанки и часто-часто закрестился. Саша смотрит на него и ухмыляется.

— Чего ты пошел сюда? Думаешь, тут сладко? Часом так замаешься, кости все выламывает, а без сна какое томление. Иной раз так доведет: ходишь, как во хмелю. А тут глянь — офицер. Чести не отдал, — раз и наряд вне очереди. Тут вовсе

обомлеешь. Нет, паренек, сидел бы ты дома. Дома-то, наверное, не работаешь, руки-то у тебя какие холеные.

Дома сейчас мама, сестра Валька, отец, наверное, плачут, ищут меня. Мать давала уроки музыки, а отец работал в музее. Когда я, бывало, заходила к отцу, он всегда усаживал меня на диван и задавал один и тот же вопрос: «Ну как дела, Зинаидище?»

При воспоминании о доме мне становится тоскливо, я встаю и быстро выхожу из землянки.

Суется солдаты. Бренчат лопатами. Обозники запрягают лошадей. Экипаж командира полка подъезжает к землянке с таким шиком, будто это подъезд большого дома. Старик полковник уезжает. Люди все в сборе. Подошел Саша Гусев и сказал, что полк уходит на позицию. Не прошло и получаса, полковник возвратился из штаба дивизии. Ему подвели оседланную лошадь. Лошадей я очень любила; вот если бы мне на такого коня.

*

Я иду с четвертым взводом третьей роты. Льет дождь. Глина скользит под ногами, но я не хочу отставать. Мы прошли без остановки пять километров. Небольшой отдых. Люди не успели закурить, как снова раздалась команда фельдфебеля: «Становись!»

Двинулись дальше. У Терехина болит зуб, он не отнимает ладони от щеки.

— Долго ли шагать-то будем? — негодует Трофим, поднимает полу шинели и греет ею щеку.

Слева от полка, по шоссе тянутся повозки с беженцами. С трудом перебирая ногами, плетутся низкорослые лошади. На повозках набросаны ведра, корыта, подушки, одеяла. На связанных узлах сидят женщины. Мужчины идут, понунив головы. На передней повозке пищит ребенок, отчаянно теребя грудь матери.

— Ать-тя, ать-тя! — кричит мальчишка и подгоняет батою лошадей. Напрягая последние силы, плетутся пегие.

— Ать-тя, ать-тя! — кричит мальчик, и, не успев он, замахнувшись, ударить лошадь, пегая упала.

Быстро вскочил на ноги ее малолетний хозяин. С повозки прыгнула мать. Пегая лежала не двигаясь. Повернув голову, смотрел на нее конь.

Мальчик, не выпуская из рук батога, чесал свой затылок, растерянно оглядываясь на мать. Галичанка, поджав тонкие губы, выпрягала коня. Солдаты помогли ей оттащить лошадь в канаву. Женщина подошла к повозке, взяла на руки ребенка, и пошли они с мальчишкой, покинув свой скарб. Сзади, опустив голову, плелся одинокий конь.

Я не отстаю от полка. Иду нога в ногу с солдатами. У меня чудовищные сапоги. Нога так и ерзает в них и затрудняет движение. А сбросить — пожалуй, будут смеяться. Я не жду больше привала. Мне тяжелее идти после отдыха.

— Идешь, браток? — говорит фельдфебель. Лицо его изрыто оспой, за это солдаты прозвали его «рашпилем». Он подходит к задним рядам и орет: — Ширре шаг, четвертая рота, подтянись!

«Хорошо тебе кричать, когда на тебе сапоги по ноге. Ишь как пригнаны». Я смотрю на фельдфебеля с завистью и с негодованием, будто он виноват, что у меня такие большие сапоги.

Стемнело. Полк идет. Идет через поля Галиции, через освещенные луной погосты. Запоздавшие крестьяне идут с поля. На кресты падают тени от их длинных белых рубах.

Мы поднимаемся в гору. Видны огни. Близко деревня.

— Ой, тяжелое времечко, окопы да окопы. То ли дело, как перли на штурм Седлисской группы под Перемышлем. А теперь — сиди и сиди. Бьет по нас германец и бьет. Ажно сил нет терпеть.

Пришли в деревню Заставки. Слышен голос:

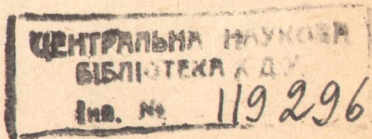
— Квартирьеры, сукиного сына, роты размещайте.

Открываются ворота. Нас восемь человек входят во двор. Разбуженная неожиданным появлением ночных людей, рвется на цепи собака... Я ухожу в сарай. Снимаю сапоги. На моей ступне сплошной пузырь. Усталость придавила тело. Не поужинав, ничего не соображая, как подпиленное дерево, я падаю в сон.

*

Солнечное ясное утро. Сон миновал, и вместе с ним прошла усталость. Словно и не было вчера такого длинного перехода. Руки проворно натягивают высохшие, покоробившиеся сапоги. Все пришло в действие; я быстро собираю свои вещи для нового перехода. Взглянула на себя в зеркальце. Лицо мое загорело. Вот посмотрели бы на меня сейчас родные. Я здесь и ноги на ночь не всегда мою, а дома разве пустили бы спать с немытыми ногами. Их здесь дождик помыл. И силы прибавились: пожалуй, сестру Вальку одной бы рукой подняла.

— Ты чего, Серега, себя рассматриваешь? Хватит, собирайся быстро. А ты, так сказать, молодец. Отмахали-то мы, знаешь, сколько? Тридцать километров. Завечерет, пойдем на позицию. — Саша Гусев пре-



рвал мои размышления. Я надела вещевой мешок и покинула ночлег.

*

— Бросай папиросу, прекратить курение!

Роты медленно, не шумя идут ложиной. Над моим ухом пронзительно засвистело.

— Серега, нагибайся, пуля летает. Нагибайся.

— Почему нагибаться? — Саша не отвечает. Я иду пригнувшись. Падает луч света, вначале узкий, а потом все шире и шире. Гусев тянет меня за рукав, и мы стремглав падаем.

— Откуда свет? Почему упали, Саша?

— Не до тебя теперь. Видишь, австриец прожектором водит. Лежи и молчи. Нащупает, сейчас гранатой всыпет.

— Саша, а граната большая? Гусев, а война еще далеко?

— Уймись, говорю. — Я поддвигаюсь, на всякий случай, ближе к Саше. Раздался удар, и мне показалось, что земля задрожала под нами. От тревожных Сашиных слов, от какого-то таинственного шороха неведомо куда идущих людей мне страшно. Может, повернуть обратно? Убежать? Нет. Я пойду с ними. Разве Саша не такой же человек, как я? Это ничего, что он

мужчина. И у него есть голова и руки и ноги. Я выпрямилась, но в это мгновение загудело над головой и, грохнувшись, треснуло с огнем. Я снова падаю.

— Немец не дурак, — успел лощину пристрелять. Лежите тихо теперь. И ты молчи, Сережа: видишь, прицел-то взял правильный; пожалуй, и по нас угадает.

Люди залегли, потом поднялись и снова залегли.

— Перебежку делаем.

— ...ой... ой... ратуйте... ой...

Ранило кого-то; в первый взвод угодило.

В ложине стало тихо. А затем какие-то люди пробежали мимо нас. Наклонились над раненым. Разрывы больше не вспыхивали.

— Вот и ход сообщения. Прибыли, значит.

Это Терехин подошел к нам. Мы входим в темный коридор. Идем «гуськом». Я щупаю рукой по сторонам. Скользит под ладонью. Щекочет.

— Свеженькая земля-то. Червяки высулись.

...Черви, противно здесь. Не пойду дальше.

— Ну, чего ты уперся словно бычок и не идешь дале? Стрельба уж поутихла малость. Чего напугался? — Солдат толкнул меня в спину. Мы поворачиваем направо. Теперь итти просторнее. В ночной темно-

те, склонившись над чем-то,—едва видимые силуэты людей.

— Трофим, что там за дырка? Что там солдаты делают?

— Это тебе не дырка, а бойница. В нее вставлена винтовка. Так стреляют из окопов.

*

В убежище, кроме Гусева, Терехина и меня, поселились еще два разведчика: земляки Черешенко и Запорожец. Сидя в землянке, Черешенко приходилось сгибаться «в три погибели». Оба земляка были очень тощи и высоки. Подобных им великанов не было в полку.

Терехин снял с себя шинель и бросил ее мне:

— На, Сережа, спи. Напугался там, в ложине? Не иначе, как немец сидит против нас. У него как в гробу тихо. Австрияк, тот не такой. Беспокойный он, страсть, то и дело из пулемета или из винтовок стреляет. Несколько раз за ночь-то откроет огонь. А немец, тот не боится нас. Нет. С немцами всегда будь на-чеку. Ребята, пошли в караул.

Все четверо поднялись и ушли из землянки. Я осталась одна. И все думаю: как же мне сказать, что я не мальчик? Трудно очень в разговоре, да и зачем скрывать?

В землянке мерцает огарок свечи. А что если сейчас придет немец? Лучше я пойду к Гусеву. Поищу их всех в ходе сообщения. С ними не страшно. Я придавливаю фитиль свечи и ухожу. Иду осторожно, чтобы не попасть в волчью яму, — о них я еще дома читала. Шаркаю ногами, едва касаясь земли. Людей не видно. Только чуть слышны тихие голоса. А вдруг я попаду в плен? Чорт его знает, куда ведет этот ход сообщения.

— Эй, кто там? — кричу я. Собственный голос кажется мне внушительным, я храбро иду вперед.

— Ты чего горланишь? Это тебе не у себя дома.

Незнакомец привел меня к нашей землянке. Я зажгла свет. Солдат полез в карман, достал оттуда маленький карандаш.

— Ты, говорят, хорошо грамотный, — давай пиши письмо домой, пиши огромными буквами, чтобы ясно было. Ну, пиши, только все, как я буду говорить.

Любезные мамаша и папаша.

Свидетельствую вам свое почтение и шлю низкий поклон. Сестрице Прасковье почтение и низкий поклон. Братцу моему Митьке низкий поклон. Дорожайшему куму нашему мое почтение. Я для них мазь в околотке выпросил. Как только у него, кума

нашего, колонет в ногах, сейчас надо и покласть эту мазь. Дорогая мамаша, засвидетельствуйте мое почтение Агриппине Васильевне, что в церковке всегда на клиросе стоят и жалобно так поют. Вы их, мамаша, враз узнаете. Они ходят в розовой кофте и в зеленых, как наша травка на бережку, юбках. Папаша, пропишите мне, что у вас в волости про войну слыхать? Надоело на фронте пребывать, все нутро выворачивает. Вошь до нас солдат нещадная, и ходит она степенно по всем членам нашего тела, степенно ходит, будто гуляет. Пожелаю вам оставаться в полном здравии. Жду от вас послания. Пропишите мне еще, продали ли нет телку нашу Катеньку? Мамаша, я снова поворачиваю к вам с просьбой, не забывайте кланяться Агриппине Васильевне, я сам им в скорости отпишу. Прилюбились они мне шибко. Остаюсь преданный вам сын, несчастный в окопах, Алексей из фронта.

Запечатав письмо в конверт, я отдала его солдату.

— Слушай, паренек, а ты все в точности прописал, как я говорил? Я тебе, как только в немецкие окопы заскочим, фуфайку офицерскую подарю.

— Я написала все, как ты просил.

— Ну, на этом тебе спасибо. Пойду в караул. Время.

Солдат завернул письмо в клочок бумаги, спрятал его под фуражку. Ушел.

*

После ночного дождя поле было такое теплое-теплое. Я взбираюсь на траверс. Мимо в окопах прошел какой-то солдат, потянул меня с траверса; но он прошел, и я снова забралась наверх. Недалеко стоят хаты с разбитыми окнами. Видна линия австро-германских окопов; далеко вправо, к участку второго батальона, окопы идут зигзагами. Ни одного человека не видно. Никто не показывается поверх траверса. Только недалеко от меня на бугорке сидит галка. Возле восьмой роты грохнул снаряд. Поднял пыль, не разорвался. Я укрылась в ход сообщения.

Иду в роту. Буду сейчас учиться стрелять из винтовки. Расположены солдаты очень редко. Шагов на десять—пятнадцать друг от друга. Попрошу вот этого, с рыжей бородой, я его знаю. Его зовут Василий Климыч. Козырек его фуражки надвинут на нос, зубами он держит шнурок кисета. Скручивает длинную папиросу. Аккуратно свернул красный кисет и прячет его в карман валяющейся шинели. Поправляет кокарду-крестик. Из хода сообщения идет офицер. Направляется в нашу сторону. Я его видела однажды в обозе. У поручика

коричневая гимнастерка. Брюки синие, а не защитного цвета, как у всех офицеров. Сапоги бутылочками, вычищены до блеска. Красиво одет. И весь такой чистый. Он подошел к Климычу. Взял винтовку. Присмотрелся. Покраснел. Сжал кулаки.

— Сволочь бородатая, прицел взял неправильный. Впустую бьешь, патронов не жалеешь.

— Ваше благородье, за что бьешь? В сынки ведь мне годишься.

— Молчать, косматая бестия! — Поручик размахнулся, снова ударил Климыча. Климыч, шатаясь, опустился на ступеньки.

— Встать, стерва рыжая! Не умеешь с офицером разговаривать.

Поручик резко повернулся в мою сторону. Я взглянула на него, и меня испугали его холодные, какие-то бесцветные глаза. У поручика раздувались ноздри, его тонкие губы подергивались. Он посмотрел на меня.

— Чего без толку лазишь, щенок?

— Некрасиво драться. Вот.

— Пошел вон, говорю. Да не показывайся мне больше на глаза.

Я вернулась к Климычу. Он вытирал лившуюся с лица кровь.

— Видал, паренек, побил-то как? Щеголь такой, — поручик Замбор. Повсегда в обозе сидит, а придет на позицию, враз скровенит. И за что мы только мучаемся?

Козью ножку испортил, сучий сын. Закурить теперь нечего.

*

Саша стоял возле землянки, перед ним висел котелок, наполненный водой. Саша набирал в рот воды так, что щеки его отдувались, и выпускал воду в пригоршню. Умывшись, он снял обмотанное вокруг себя полотенце, расшитое петушками, и тщательно вытерся. Посмотрел на себя в зеркало, расчесал кудри и запел:

...Вы не вейтесь, русые кудри...

— Ты где пропадал?

— У Василия Климыча стрелять учился.

— Ну и как? Научился?

— Ну да научился.

— А не врешь?

— Спроси его сам, если не веришь.

— А языка видел? Сам пришел. Батальонный его спрашивают: якого регементу? А он молчит, ни слова. Погнали его в штаб.

— Ребята, вылазь, командир дивизии с начальником штаба по окопам ходят,—торопливо объявил вестовой и побежал дальше.

— Чего это его нелегкая занесла? Не иначе, как снег выпадет.

— Это который же командир дивизии? Он генерал?

— Гляди, вот этот высокий, бравый —

командир дивизии генерал Мичволодов. При нем начальник штаба, а тот, безрукий, знаешь его, капитан Мельников; он у нас временный батальонный, а наш-то, капитан Крапивянский, скоро вернутся, раненый он. Капитан Крапивянский—боевой, страсть. И до нас солдат обращение у него очень уважительное.

Стройный, высокий, в черкеске, с небрежно накинутым на плечи белым башлыком, позванивая шпорами, выступал генерал. Он прикладывал белоснежный платок к седым усам и, поминутно щурясь, что-то говорил начальнику штаба. Начальник штаба, полковник Неймирок, шел за генералом и, покачиваясь, как селезень, вносил записи в книжечку. Капитан Мельников, поджав губы, одинокой правой рукой показывал начальству на бойницы. Сзади мелкими шажками догонял генерала командир полка полковник Свирский.

— Полковник, а это что за элемент?

— Ваше превосходительство, это наш Се-реженька, мы его взяли добровольцем. Разрешите оставить?

Я замерла от ожидания и втянулась вся в плечи. Генерал Мичволодов смерил меня щурящимися глазами с головы до ног.

— Можно оставить. Занятный экземпляр. Надо будет поближе с ним познакомиться. Пришлите его к нам в штаб погостить. Мы его сфотографируем.

Терехин заболел. Его лихорадит. Ротный разрешил ему лечь в околоток.

— Ну, Сережа, идем. Провожу тебя до деревни. Командир-то полка еще поутру передавал представить тебя в штаб дивизии. Смотри, не забудь, как я учил тебя стоять перед генералом.

В землянку вошел Климыч.

— Ну, здорово. Как живешь, Трофим? Неужто напасть какая объявилась? Куда это вы собрались? Ишь, Сережка-то, как яблочко наливное, а вот волосы малость обкарнать надо. Давай, Саша, машинку, подъегорю я его вмиг.

Процедура с волосами длилась недолго.

— Куда ж вы собрались? — снова спросил Климыч.

Сашка объясняет ему.

— Ну, ладно, смотри не загостись у генерала. Приходи обратно. Ты неплохой паренек.

Глава третья

— Ваше превосходительство, разрешите? Гостя привел.

Дверь распахнулась. Генерал отодвинул табуретку, на которой лежали его ноги, и приподнялся с постели.

— Милости просим. Поручик, вы свободны.

— Ннн-у-с..., если не ошибаюсь, Сережа, кажется. Так?

Я смотрю на генерала, генерал на меня. Я стараюсь вытянуться перед ним «в струнку», как меня учил Трофим. На этот раз генерал не мерит меня глазами с головы до ног. Он упорно и пристально смотрит на мою грудь. Я попрежнему стою все в той же позе — то опускаю ресницы, то снова их поднимаю. Я чувствую, как краска покрыла мое лицо. Посмотрела на генерала. Прошло мгновение, но миг этот показался мне бесконечным. Генерал смотрел... Смотрел и щурился. Для меня стало ясным одно: то,

что мне удалось так ловко скрыть от солдат, не удалось скрыть от генерала.

Он подходит ко мне. Берет за плечи и низко наклоняется над ухом:

— Ты девушка? Имя?

Я так же тихо ему отвечаю:

— Зинаида. Ваше превосходительство, обращаюсь к вам с просьбой: оставьте меня в полку.

Генерал взял меня за подбородок, притянул к себе:

— Крошечка, тебя же убить могут.

И громким, решительным голосом:

— Ладно, отдам распоряжение в полк. Зачислят приказом.

И опять тихо:

— На длительной стоянке приходи. Буду ждать тебя. Придешь?

Я съежилась вся, приложила руку к козырьку:

— Слушаюсь, ваше превосходительство! Разрешите в полк вернуться?

Генерал Мичволодов еще раз спросил, приеду ли я, прижал к себе идохнул на меня. От него пахло очень празднично — вкусными пряниками, тортом, шоколадом и духами.

— Ступай, цыпленочек, отвезут тебя.

Я шла быстро, не оглядываясь. Мне казалось, что вот-вот на меня обрушится что-то непосильно тяжелое. Ненужное. Мне

хотелось поскорее попасть в окопы, к Саше, Трофиму, и Климычу. И все им рассказать. Я думала, что они все поймут, и я не поеду больше в дивизию. Трофим, Саша— все они в серой шинели, в неуклюжих сапогах, часто в грязной, засаленной гимнастерке, но все они не такие злые, как офицеры. Зачем меня ущипнул Мичволодов?

*

— Сынок, а сынок, помоги мне, касатик.

Санитары остановились и медленно опустили носилки. Я наклонилась над раненым. Австрийцы свирепо и оглушительно весь день громят из орудий. В этот день я впервые так близко видела раненых. Гимнастерка и рубаха солдата изрезаны на куски. Кровь льется из маленького отверстия на боку. Солдат стонет.

— Миленький, приподними меня: может, полегчает.

Я изо всей силы тяну раненого за плечо.

— Ой-ой... сердешный, отпусти, не трожь.

Я опускаю солдата. Снова несут кого-то. Голова раненого обвязана марлей. Он кажется мертвым. На повязке запеклась кровь. Санитар бросил мне бинт:

— На наложи ему свежую повязку; видишь, марля присохла, тербит ему голову.

У меня дрожат руки, я легонько разма-
тываю бинт. Повязка подходит к концу.
Я сняла ватную подушечку, открылась ра-
на, а на марле остались кусочки мозгов.
У меня помутнело все перед глазами, все
вокруг завертелось. Подступила тошнота.

— Мить, а Мить, не может он перевя-
зать, ишь, оробел. Ах ты, слюня. А ну пу-
сти!

Санитар снял мозги с ваты и вложил
их обратно в голову солдата.

— Не выживет. Зря несем.

Поднялись. Пошли, тяжело ступая.

*

— Надо ребят проведать. Ты сиди здесь.
Не выходи никуда. Кроет с правого флан-
га, пули вдоль окопов сыпет. Не знаю, как
доберусь к землякам.

— Саша, и ты не ходи.

— Подымай, подымай, чего остано-
вились? Рана-то не пустяковая. Да, гляди, по
дороге не давай воды. Ничего не давай
пить.

Однорукого капитана Мельникова ра-
нило в живот. Позже мы узнали: несмотря
на строгие наставления не давать ни кап-
ли жидкости раненому капитану, денщик
Мельникова Шехтер несколько раз поил
своего командира водкой, которую всегда
носил в фляжке. Тяжело раненый капитан

закусывал водку колбасой и выздоровел на диво лазаретным врачам.

— Эй ты, на, почитай.— Саша вернулся недовольный и протянул мне бумагу.

ПРИКАЗ №...

(по 74 Ставропольскому полку)

ПУНКТ 1

Командира 1-го батальона капитана Мельникова С. М. считать выбывшим по ранению.

ПУНКТ 2

Командира 1-го батальона капитана Крапивянского, вернувшегося после ранения, назначаю командиром 1-го батальона.

ПУНКТ 3

Командование 1-ой ротой возлагаю на прибывшего из лазарета после болезни поручика Ероша.

ПУНКТ 4

На вольноопределяющегося Шанского Д. М. за несвоевременную отлучку из команды разведчиков налагаю арест на десять суток, который отбыть при полковой гауптвахте.

ПУНКТ

Находящуюся при третьей роте добровольцу Зинаиду Крамскую (она же Сергей) зачислить на все виды довольствия и с 7-го с. м. считать прикомандированной к команде пеших разведчиков.

— Так вот оно что. Генерал исполнил свое обещание.

Я гляжу на Гусева. Он смотрит на меня с удивлением.

— Гусев, ты не сердись.

— Чего сердчать? Не виновата, чать, твоя мамка, что родила дочку, а не сына.

— Саша, возьми меня с собой в разведку. Идем сейчас.

— В разведку не ходят днем; это если полк в движении, тогда дело другое. Бывает. А тут поди-ка высунься, сейчас прихлопнет. А ловко ты нас обдурила. Как же это мы-то ничего не заметили? Уж очень ты на мальчика схожа. Ну, ладно. Ночью пойдем. Приказано подрезать проволочные заграждения. К атаке готовятся.

— Здравствуй, Сережка. Ах, я и забыл, — Зиной тебя кличут. Да?

— Трофим, я пойду с вами в разведку.

— Брось, куда там, не бери ее, Саша. Ты, Зина, от страха помрешь.

— Он уж обещал. Пойду я. Почему вам можно, а мне нельзя?

— Да мы разве по своей охоте идем? Кому охота на смерть без всякой причины итти?— сказал Саша.

— А война?

— Ну и что ж, что война. Не за свое добро воюем. Ну, давай обедать. Бери котелки, раздатчик пришел. Потом на досуге поговорим.

*

Мы ползем к проволочным заграждениям. Сердце замирает от ночной неизвестности. Что там впереди? Двигаться трудно, нам попадаются большие кочки глины. Высохшая земля давит тело.

— Зинка, бери левей, — тут калюжа.

Черешенко отползает от меня.

— Саша, больно ползти, кругом кочки.

— Ты боком пробирайся. Легче будет. Тихо... не шуми. Скоро заграждения.

Мне жарко. Я расстегнула ворот гимнастерки. Просвистела пуля. Вторая продребезжала.

— Издалека стреляет. Такой пулей как вдарит, вырезать понадобится. Бессильная она. На излете.

— Терехин, ты?

Тихо. Я одна. На левом фланге открылся беспорядочный огонь из винтовок. Над участком нашего батальона засветились ракеты. Голубовато-зеленые, они падали

медленно-медленно. Климыч говорил, что у австрийцев ракет очень много, а нам отсырелые присылают. «Пускают, пускают их, а толку никакого». Что же это такое? Я зацепилась рукавом о клубок колючей проволоки. Тяну рукав изо всей силы. Он не поддается. Не уйти мне теперь отсюда. От страха дрожь пронизывает тело. И вдруг становится жарко.

— Саша, Трофим, где вы? — Никто не отвечает. Близко разорвалась шрапнель. Свет прожекторов бежит быстро-быстро. Спрячется на секунду и вновь появляется в том направлении, где пробирались наши разведчики.

— Саша, где ты? — Никто не слышит меня. Коротко забил пулемет. Мне пришел в голову самый простой выход из положения.

Снимаю гимнастерку. Я быстро освобождаюсь от этих противных железных шипов. И на четвереньках, чтобы поскорее добраться до окопов, я отступаю.

— Та що це таке? Та то никак Серега, чи Зинка.

По разговору узнаю Черешенко.

— А где остальные?

— Где, где? А вот на що ты на карачках ползешь? Не чуешь разве, як пулемет таракочет? Вот засадит тобі в зад, будешь тогда на карачках ползать. Хиба ж так перебежку делают?

Ночной ветер задувал в грудь. Разорванный рукав рубашки развевало ветром. В землянке я нашла в вещевом мешке суконную куртку и натянула ее на себя.

— Ты куда провалилась, Зин? Я от тебя отполз малость, гляжу, а тебя нет. Ты, наверное, Черешенко увидала и с ним пришла? Зин, а где твоя гимнастерка?

— Гимнастерка! А вот почему вы меня бросили? Гимнастерка осталась на проволоке у немцев. Вот. Смеешься? Не стыдно тебе?

— Да ну, и пошутить нельзя. Я никому не расскажу, а Черешенко, может, и не приметил в темноте. Наступать, Зин, полк не будет. Разведчики на правом фланге обнаружили себя. Теперь дело у них не выйдет.

Всю ночь окопы соседней дивизии обстреливались артиллерийским огнем. Близкое расстояние от австрийских окопов спасло батальон от обстрела. Из-за боязни попасть в своих немецкие пушки молчали.

*

— Ваше высокоблагородие, вы меня вызывали?

В просторном, сделанном из толстых бревен блиндаже, на складной кровати, сидит командир полка. Здесь имеется столик, и на нем керосиновая лампа. На стен-

ке у постели висит фотография мальчика в кадетской форме; волосы у него подстрижены «ежилом», а нос вздернут кверху. Кадет снят на стуле, а ноги у него не достают пола. Рядом с командиром полка «дыбом» поставлен чемодан. На чемодане стоит закоптелый чайник. Седой маленький полковник тянется за газетой. Его глаза слезятся, как у Валькиной собачки, Тобика. А усы, прокопченные никотином, заканчиваются ниточкой. Глаза старика слезятся и улыбаются.

— Брось вытягиваться. Чего выдумывать. Такие вот дела: тебя разыскивают родные. Простят вернуть домой. Поелешь?

— Нет. Возвращаться не буду. Здесь привыкла.

— Твое дело. Силой не отправим. Все равно опять убежишь. Молодость. Но подумай сама: здесь чрезвычайно опасно, тебя могут убить, родителям горе будет неутешное. Привыкла, говоришь? Ты мне все рассказывай. Я тебе, как отец родной. Моя внучка, Марина, твоих лет, а внученок, — вот его фотография, видишь — его фотография, — он в кадетском корпусе учится.

— Я к походам привыкла. И к солдатам.

— К солдатам? А к офицерам?

— Офицеры мне нравятся — они красиво одеты, только они злые. Они хуже, ваше высокоблагородие.

— Ты меня зови Станиславом Казимировичем. Так офицеры хуже?

— Офицеры хуже. Они насмешники. Можно итти?

— Нет, ты погоди.

— И солдат они бьют. Это некрасиво.

— Здесь, в окопах, редко бьют. Изредка, для поднятия дисциплины.

— И надо мной смеются.

— Ты девушка, и для них забавно.

— Ну что ж из того, что я девушка? И девушки могут быть на войне. И совершать переходы. Сначала немножко трудно, а потом я, например, втянулась. И даже я сильнее стала. И стрелять умею.

— А австрияков много уложила?

— Нет. Я еще в них не стреляла.

— А в кого?

— В галок.

— Эх ты, вояка. Солдат в галок не стреляет. Ну, ладно, ступай. На, возьми. Полковник дал мне плитку шоколада.

— Семен, проводи барышню в роту.

Денщик Свицкого вежливо дал мне дорогу. Мы переступили с ним порог командирского блиндажа.

— Ты вот что, Семен, — иди к себе. Я и одна отлично дорогу знаю. Я такой же солдат, как ты. — Я приподнялась на носках и похлопала Семена по плечу. — Иди, иди.

— Ишь ты какая. Солдат. Ну и чудеса в решетке.— Семен, послушавшись командира полка, крадучись, тихонько повернул к своей землянке.

Рассвет. Ружейные выстрелы вспугнули птиц. Они вспорхнули и всем семейством поднялись высоко-высоко.

Я еще раз перечитала письмо к родным.

Дорогие мама, папа и Валька.

Пожалуйста не пытайтесь вернуть меня домой. Я не поеду. Я уехала на фронт, меня поймали, я убежала и сейчас нахожусь в пехотном полку, на войне. Я проходила по тридцать километров, и ничего. Вот, Валька, ты пришли мне папирос. У меня есть знакомые солдаты, они угощали меня пряниками и пирогами с горохом; им прислали из дому посылки. Сначала я выдавала себя за мальчика, а сейчас все уже знают, кто я. Один из офицеров, поручик Замбор, когда узнал о том, что я девушка, прислал мне духи. Я видела, как этот поручик избил в кровь солдата Климыча, моего знакомого. Мне Замбор стал неприятен, хотя он очень красиво одет. Письмо вам бросит в ящик один солдат, он едет в Киев в госпиталь. Ну, вот и все. Целую вас всех и Алексеvнушку. Зина, рядовой третьей роты.

Глава четвертая

Молодой, свежий лес шумел солнечной радостью лета. Здесь люди расположились бивуаком. Саша смотрел на гибкую березу, на ней раскачивалась голубая синичка-лазоревка: она выклевывала брюшко из белого мотылька.

— Обедает. Смотри-ка на нее, сама-то, так сказать, ростом с мотылька. Хорошо ей! Вольная.

— Ты глянь, лес-то какой пахучий. И цветков много. Машка моя страсть цветки любит. На, возьми. У нас за деревней земляники много. — Я смотрела на подарок Трофима — на сиреневые колокольчики. Я слушала Сашу, Трофима. Голоса их стали какими-то мягкими, они говорили о птицах, о лесе, о цветах с ласковой нежностью.

— Я вам расскажу, был у меня такой случай. Годов мне было тогда семнадцать. Поехал я в деревню, куда сестра моя за-

муж была выдана. Было это как раз в Троицын день. Симпатия у меня была — Глаша. Шли мы с ней, шли по лесу, видим — дед идет. Ему уже сотый годок миновал. Пасечник он. Подходим к нему, а Глашка мне и говорит: не слышит он. И глаза у него плохо видят.

— Ты куда идешь?

— К барину, слуга его приказали. Надо барину пояснение дать, почему мед с пчелками представил. — Сел дедушка на пенек. И мы с ним передохнули. Береза над нами стоит. Кучерявая, вот как эта. В жисть свою не забуду я, вспомнить — сердце гудит. Пошли мы с дедом на помещичий двор. Спрятались с Глашкой, смотрим. Вышел барин, а в руках у него тарелка большущая с медом. Соты жирные, налитые. Подходит барин да как хлопбысь весь мед прямо деду в лицо. Дед упал, извинения всякие выпрашивает. «Пчелок я, барин, забыл убрать»... «Веди, — говорит, — его в сарай, подогрей ему его гнилье старое».

Повели деда в сарай, и мы с Глашей туда пробираемся. Смотрим в щелку, а там деду тиковые-то спустили и ну, давай его лупцовать. Розгами били. Застонал дед. Стонет, а бред от него такой исходит: «Пчелки мои, хорошие пчелки-сиротки...» Да больше ничего и не сказал. Прикончился.

Саша замолчал.
Где-то охнуло оружие.

*

К утру наш батальон оттянули к фольварку Михалки, расположенному на опушке леса. Там, в большом овраге, разместились кавалеристы. Земляк Трофима еще утром сообщил обозные новости: полки поведут наступление на Залещики и станцию Окна. А кавалерия будет преследовать неприятеля. У кавалеристов суровые лица. На голове у них папах-овца. Сашка сказал, будто бы это текинцы. Они ежеминутно поглядывали на стоящих в стороне лошадей. Таких поджарых лошадей я еще не видела. У них маленькая голова, реденькая грива и длинный серый хвост. Всадники разложили костры. На искривленном клинке трепыхалась утка. Запахло гарью. Офицер-пехотинец отдал приказание погасить огонь. Кавалерист улыбнулся.

— А ты зачем нечестно сражаешься? Зачем в землю прячешься?

Костры горели. Предостерегающе ухнул снаряд. Кавалеристы бросились гасить огни. Но легче пламя потушить, чем рассеять дым. Рвущаяся над лесом «журавлем» шрапнель сменилась тяжелой гранатой. В суматохе побежали текинцы к своим лошадям. Граната разорвалась, вздымая землю. Осколком снаряда ранило лошадь. Ка-

валеристы наклонились над раненым конем. На бордовой от крови траве, вытянув красивые, стройные ноги, лежала лошадь. С трудом поднимая голову, потухающим взором смотрела она на распоротый живот. Хрипя стонала. Один из кавалеристов сбросил с плеч лохматую бурку, осторожно с товарищами они положили на нее лошадь. Под сильным орудийным огнем кавалеристы поволокли тяжелую ношу — боевого товарища.

К вечеру утихла артиллерийская стрельба, но не умолкли стоны.

Розовел лес от заходящего солнца.

Наклонившись над трупом лошади, широко открыв глаза, в немом отчаянии своего горя, молча оплакивал всадник свою потерю, свое сокровище.

*

С утра носились вестовые по окопам и ходам сообщения. Полевой телефон гудел, по несколько раз вызывая офицеров к командиру полка. Беспокойные шаги начальства заставляли настораживаться солдат. Мысли о бое так же подавляли сознание, как и горбатая гора-подкова, увенчанная короной немецких окопов, подавляла ту равнину-ладонь, по которой проходили наши траншеи. Но из штаба дивизии требовали восстановить положение. Младшие

офицеры, говоря солдатам о наступлении, добавляли: «Позицию противника надо взять, генерал Мичволодов приказал». Солдаты готовились к бою. Ночью пришли кухни, гуськом потянулись денщики, брэнча судками. Солдаты ели вяло. Поев, собирались вместе; сидя на земле, они дремали, оперевшись о стволы винтовок.

Чуть свет забили батареи. Облаком разрывов затянуло все пространство австро-германских окопов. Там молчали. Откуда-то справа электрическим током ударило:

— Вперед!

Унтера и младшие офицеры, поспешно выпрыгнув на бруствер, отбежали шагов на десять и залегли. Солдаты, высунув головы, выскочили и залегли в траве беспорядочной цепью. Австрийцы не стреляли. Цепь поднялась и пошла. За ней двинулась еще одна линия солдат. С фронта открылся редкий ружейный огонь, но первая цепь не ложилась. До австрийских окопов оставалось не больше трехсот шагов. Офицеры остановились, дали команду. Люди стали перебегать пачками из-под бугорка на бугорок, они накоплялись в складке, идущей под самым носом противника.

В это время ожила занятая германцами страшная подкова.

Огонь винтовок и пулеметов «пришил» нас к земле. По нашему резерву забили гаубицы. Вторая линия, бодро шедшая под

прикрытием первой цепи, изогнулась и зарылась в землю. Частый огонь. Заработали пулеметы. Там не рассчитали, — артиллерия немцев уже не могла бить по наступающим, боясь попасть в своих. Эхом разнеслось ура. Широкие ворота подрезанных ночью проволочных заграждений пропустили атакующих. Словно муравьи заматались в панике и бросились из своих убежищ австрийцы.

— Коли его, коли! — кричали офицеры.

Люди побежали вдоль хода сообщения, их внимание приковали австрийские ранцы.

— Гляди, ребята, тут кроны, ей-бо, кроны.

— Не задерживайся! Вперед! — раздался офицерский окрик.

Растянувшись вдоль окопа, лежал раненый австриец. Из его полного живота лилась кровь. Люди, не перескакивая через него, тяжелым сапогом давили его грудь, устремляясь вперед. Нечеловеческим криком вырвалась мольба: «Застрелите меня».

Напрягаясь изо всех сил, я оттащила раненого к землянке и снова поднялась наверх. В это время австрийцы, не добежав до своих резервных окопов, перешли в контр-атаку. Наши батареи открыли огонь. Все перепуталось. Снаряды попадали в своих. Люди падали, как подкошенные. Высоко взметнув руками, рядом со мной упал прапорщик Ерош. Артиллерия не умолкала. Солдаты залегли. Мы боялись шелохнуть-

ся: каждому казалось, что противник из всей массы видит только его одного. Но вот заворочались головы. Мы увидели, как далеко влево, там, где наступали севастопольцы, австрийцы удирали из своих резервных линий. Люди обратились в бегство по всему участку. Солдаты поднялись и без офицерской команды двинулись вперед. Австрийцы, бросив ружья, подняв руки, кричали: «Пан, я ваш!» — и бежали в наш тыл.

Станция Окна была взята.

Вправо от нас промчалась конница. Текинцы преследовали неприятеля. Всадники в черных папахх пригнулись к белым гривам своих лошадей. Какие-то страшно траурные, они пронеслись вперед.

Я вижу Трофима. Приклад его винтовки изукрашен кровавыми узорами. Трофим сидит на корточках и наматывает остаток марлевого бинта. На коленях у него, поджав красные лапки, сидит голубь. Его перебитое, раненое крыло аккуратно забинтовано Трофимом. Спрятав бинт, Трофим гладит головку птицы указательным пальцем. Голубь дремлет.

Примостившись на огромной куче консервных пустых банок, пересматривая находящееся в австрийском ранце имущество, Саша не мог оторвать взора от фотографической карточки, с которой на него улыбаясь смотрела задорная австриячка.

Нас поставили в деревне Джаны.

Я иду к себе на квартиру. По дороге я встретила вольноопределяющегося. У него большой лоб, большие серые глаза, — и какие-то хорошие глаза.

— Скажите, это вы и есть Шанский? Мы с вами в один приказ попали! Помните?

— Да, это я и есть Шанский. Ну как, Зина, долго думаете пробыть в полку?

— Долго. Совсем здесь останусь. Я уже в бой ходила. Интересно.

— Интересно? — Шанский пристально на меня посмотрел и улыбнулся, но улыбка эта была уже совсем иной, и мне стало неловко.

— Вам, может быть, и интересно, вы у нас одна. Вы и не замечаете солдатских горестей, а может быть, и стараетесь их не замечать.

— Почему вы так думаете? Вы вот не видели, как я раненого неприятельского солдата тащила?

— Немца?

— Нет. Австрийца.

— Ну, все равно. Вы еще отличитесь, и вам дадут награду. О вас еще напишут в газетах, тогда вам и вовсе здесь понравится. Пустое это все, Зина. Да и по молодости лет многого вы не понимаете. Я

стою вот в той хате, приходите ко мне. Потолкуем. Идет?

— А вы меня научите ориентировочным знакам? Полевую карту вы хорошо знаете?

— Знаю. Научу вас. Приходите.

Расставшись с Шанским, я иду к своей хозяйке.

Что за новость? Откуда эти маленькие сапоги? И записка:

Зина. Я приказал сделать для вас сапоги. И для вас шьют в команде шинель. Беру на себя смелость опекать вас. Я остановился на квартире у ксендза, приходите ко мне. У нас есть земляничное варенье.
Замбор.

Несколько раз я примеряла сапоги. Хорошо в них. Хорошо пригнаны по моей ноге. Но я снимаю сапоги и отбрасываю их в угол хаты. Пройдет минута, и я снова их надеваю. Очень они ладные для похода. Мои большие сапоги натерли мне ногу и заставили меня ехать в обозе. А солдаты надо мной смеялись: «Ишь, как узнали, что ты девчонка, сразу на подводу посадили». Возьму сапоги; могу взять, а к поручику не пойду. Подумаешь, земляничное варенье. А он злой и неприятный, Замбор.

Я надела подарок Замбора и пошла гулять. Возле перевязочного пункта я оста-

нови́лась. У хаты на завалинке сидели раненные. Они с нетерпением ждали, когда их отправят в тыл.

— Доколе мучиться будем? Когда в лазарет представят? Тошно здесь. Последние силы выматывают. И раненому покоя нет. За что мучаемся? Тятка из дому писал, — третий месяц в город за пособием ходит, толку нет никакого. Трех братьев нас на войну угнали, а тятка старый, ему не под силу работать.

— Домой бы добраться. Керосином рану разбережу, а на фронт больше не поеду. Вот вам крест, не поеду. Кому она нужна, бойня эта? Нам, что ли?

Солдаты смотрели на меня искоса. И взгляды эти укололи меня, мне почему-то стало очень досадно; так же ведь улыбнулся и посмотрел на меня тогда Шанский.

*

Я вернулась в хату. Вошла моя хозяйка.

— Бабуся, свари мне десяток яиц.

— Та на що тобі так много? Ты маленький, тебе не треба столько яиц. А злоты у тебя есть?

— Сейчас нет, я завтра отдам.

— Шукай вас на завтра. Вы еще в ночи уйдете. Ні. Це не можно. Ходи, з нами повечераешь. Да вылазь из хаты, хлопчики да дивчата хотят тебя побачить.

— Бабушка, ты сердитая.

— Не сердитая я. Ні. Али на вас на всех не настанешь. У вивторек яку гуску взяли, вон те, что в патлатых шапках. Не дам тобі. Гляди ще, яка вояка знашлась.

Мы вышли с хозяйкой на крыльцо.

— Прыська, а Прыська, дивись, який хлопчик. А чоботы як у москаля. — Ребятишки окружили меня со всех сторон.

— Я теж пойду на войну, — улыбнулся мне черноглазый мальчик.

Я подумала: а что если бы я такого встретила в бою? Я бы не стреляла в него.

*

Хаты от лунного света кажутся еще белее, чем днем. Бон одна, как белый гриб, крытая соломой. В ней живет Шанский.

— Я пришла. Здравствуй. Не поздно?

— Добрый день, Зина. Откуда это у тебя такие сапоги?

— Вот.

Я отдала Шанскому записку Замбора.

— Земляничное варенье. Ну, что ж, это не плохо. Но ходить вам к поручику не советую. Варенья у меня нет, а вот мед имеется.

Шанский закурил и быстро зашагал. Я смотрю на полевую карту; он объясняет мне все толково и ясно.

— Ну, хватит на сегодня. Итак, говорите, вам здесь интересно?

— Да. Интересно.

— Оригинально находить интерес там, где царит смерть, где военная машина мелет человеческие тела в интересах богачей. Неужели вы не задумывались хоть раз о том, кому нужна эта война и почему здоровые, молодые немцы или австрийцы, которых косит война, стали нашими врагами? Мне-то вы, пожалуй, понятны. Вы еще молоды и по молодости многого не знаете и не понимаете. Только смотрите, чтобы не получилось так: у семи нянек дитя без глаз.

— Какие няньки?

— Бросьте вы в самом деле! Вы сами не замечаете, как с вами нянчатся офицеры. Я иногда заглядываю в офицерскую лавочку и не раз видел, как денщики покупали вам конфеты, одеколон и прочие вещи. Здесь передовая линия, и меня все это не удивляет. Вы — большая приманка.

— Я никому из них не уделяю внимания. Я не люблю офицеров, Давид Маркович.

— Почему?

— Они нехорошо шутят со мной

— Но вы берете от них подарки?

— Я не только для себя их беру.

— Вообще вы, конечно, не лишены чуткости. Но когда вы говорите, что вам на войне интересно, это нехорошо. Эта ужасная война отвратительна по своей бессмыс-

лице. Богатые, Зина, богатые заставляют людей идти на войну и этим разоряют и без того жалкие крестьянские земли. Народ гонят сюда защищать родину, царя и отечество. А что дает рабочим и крестьянам эта родина и отечество? Плеть, нужду и некультурность.

Шанский передохнул немного, лицо его стало красным, глаза гневно озирались то на окно, то на дверь.

— Скоро рабочие и крестьяне поймут всю нелепость этой бойни и поймут, где их враг. Вот тогда, Зина, тогда будет наша война, нужная и необходимая борьба. Время не останавливается, жизнь вся в движении. Вы ведь живете, Зина? Так? А жизнь — это люди. А знаете ли вы, что для того же Замбора, этого помещичьего сынка, все эти люди не больше не меньше, как оловянные солдатики. Зина, вы говорили, что вам семнадцать лет. Ну вот, если уж вы забрели сюда, то прежней вы отсюда не должны уйти. Год на войне — это долгий год. Я, пожалуй, хотел бы взглянуть на вас через год.

От разговора с Давидом Марковичем у меня неприятно ныло на душе.

— Давид Маркович, я пойду.

— Почему? Разве я вам надоел? Вам скучно слушать меня?

— Нет, не скучно. Тяжело как-то делается. Я пойду.

В садах неподвижны высокие тополи. Деревня наполнена ароматом зрелых яблок. На старый плетень наклонилась ветка развесистой груши. Сладкие груши-панно усеяны осой-лакомкой. Черноокая Яня, дочка моей хозяйки, помогает матери собирать яблоки. Пятилетняя внучка Прыська носит сухие ветки в сушарню. Яня остановилась и заглядывает на деревце с одиноким яблоком.

Я вижу, как через забор перескочил офицер. Это Замбор. Он идет, размахивая стэком. Смотрит на яблоко. Бросил в него стэком. Посыпались листья. Яня подскочила к Замбору.

— Не зачипай, зачем тебе? Не бачишь, воно одно. Ну нехай собі висит. Не зачипай. Чуешь?

— Глухая, зачем тебе это яблоко? Ишь ты какая... — Замбор обхватил талию Яни. Она забилась в объятиях поручика. Красный платочек упал у нее с головы.

— Ой, боже ж мий, ой, лишенько, ой! — Яня кричит на весь сад. Бабка спешит к ней, опираясь на палку.

— Здравия желаю, ваше благородие!

Поручик взглянул на меня своими стеклянно-холодными глазами. Поднял стэк и ушел. Яня, прислонившись к яблоне, тихонько плакала.

Глава пятая

Участок первого батальона считался почему-то наиболее важным. Офицеры в разговоре между собой называли его «ключом позиции». Роты занимали кладбище и мельницу, стоящую на краю села. От мельницы к кладбищу тянулась небольшая долина, по которой протекала гнилая речушка. Было в ней воды не больше, как по колено, но ее долина была непроходима. Она была ярко-зеленой, как будто ее несколько дней подряд красили маляры. И по ней тут и там пестрели цветочки. Кладбище было на суходоле. Зброшенная его часть тянулась вверх к селу, на горбок. Здесь росли нежные березы и кустарник.

Отсюда километров на десять проходили кривой линией окопы, и в ста шагах стояла мельница. У мельницы тянулась плотина, и лежал, словно полное блюдо, искусственный пруд. Беспреданно обвисая водяными штыками, вертелось в воде колесо.

Никого не было на мельнице, и жернова, стираясь друг о друга, шли вхолостую. Не раз приходили крестьяне просить разрешения остановить колесо. Их каждый раз прогонял офицер.

С кладбища отчетливо виднелись окопы немцев. Наши две роты занимали кладбище, одна мельницу и одна стояла в резерве на опушке леса. Окопы каждый раз углубляли, — как говорил фельдфебель, «делали полный профель». Рыли ниши и для боевых припасов. Бойницы присыпали новым слоем земли. Долго просили крестьяне подполковника Кривдина разрешить подобрать скелеты... Он не разрешал им. Лишь капитан Крапивянский на участке своего батальона позволил крестьянам убрать скелеты. И поближе к деревне они вырыли большую яму. Устроили там братскую могилу для выброшенных из их последних убежищ.

По ночам начальство наряжало людей ставить рогатки и натягивать проволоку. Перед кладбищем выросло несколько рядов кольев. Рыли землю и возле мельницы, но там это делалось не с таким рвением.

Лишь долина пребывала в покое. Днем, когда пригревало солнце, над желтыми цветами вились бабочки. Да ночью на ее тропинках залегали секреты.

За последние дни немцы держались спокойно. Раньше не было ни одного дня без

немецких атак. Никто не думал о сопротивлении немцам. Только на всякий случай считали, сколько километров успеем сделать за день.

Ежедневно, с восходом солнца, в полдень и когда на фоне заходящего солнца вырисовывалась немецкая проволока, немцы посылали нам свою «почту», как говорил Саша.

Над кладбищем высоко рвалась шрапнель и свинцовой дробью хлестала по старым крестам. Две шрапнели и пять гранат были отмеренной порцией. В это время возня в окопах прекращалась. Люди прилипали к внешней стенке окопа, дежурный офицер наклонялся над перископом.

— Немчура — аккуратный народ, не прозеват, — говорил Трофим, как только первая шрапнель «белым гусем» висла над окопами.

— Бьет в точку, как сына и дочку, — шутил Саша, беспечно гуляя по окопам.

Кривдин словно черепаха высовывался из своей землянки и, прячась в нее не надолго, снова появлялся. Не глядя в окопы, он обращал свой вопрошающий взгляд на дежурного артиллериста. По его спине он определял положение. Он быстро делал свое заключение и возвращался в землянку.

Так продолжалось семь долгих дней. Днем тревоги не замечалось. Немцы оттабабаныт, и в окопах начинается прежняя

жизнь. Солдаты нашей роты с унтерами и фельдфебелем уходили на работы и ставили проволоку. Офицеры собирались у Кривдина и просиживали в блиндаже весь день. По ночам одну треть солдат заставляли дежурить. Им не разрешали ни сидеть, ни ложиться. Они беспрерывно стояли у бойниц. При малейшем шорохе Кривдин выскакивал из блиндажа и прислушивался, приложив ладонь к уху. Полевой телефон стонал всю ночь. Кривдин звонил по несколько раз командиру резервной роты и спрашивал, не ушел ли он спать на село. Внезапность ночных атак пугала всех.

На рассвете пятого июля немцы послали первую «почту». Отсчитав две шрапнели и пять гранат, люди стали отклеиваться от внешней стенки окопа. По ходам сообщения раздатчики ведрами несли чай.

— Кипятку б хлебнуть, кишку разморить, — лениво бросил Трофим.

Жжжжж... ваааах... — раздалось из хода сообщения. Там взлетела земля. К ногам Терехина, кувыркаясь, покатилося ведро, разливая мутную воду. Раздатчику оторвало руку. За этим разрывом последовало десять, а может быть двадцать—тридцать ударов.

Перед кладбищем и плотиной возникали вспышки огня и земли. Из блиндажа Кривдина, пристегивая на ходу шашки, бежали офицеры. Лицо Кривдина потемнело, оно

сливалось с его коричневым френчем. Сутулясь, он побежал по ходу сообщения и затем прилип к одной из бойниц; широко растопыбив пальцы, он упирался руками в землю; через секунду он перескочил к перископу.

— Вот бьет, без задержки, — заметил Трофим.

— За неделю вперед посылат, — добавил курносый Башмакин, вернувшийся недавно из госпиталя.

— Кожа лопнула, вот и посыпалась каша, — шутил Гусев.

— А ты поди затачай, — предложил Саше Трофим.

— Поди высунься, — может, и долезешь. Послужи, брат, миру: вишь, что поделалось с народом.

Немцы крыли, будто где-то в ряд выстроились сотни великанов и по команде хлопали большими конвертами. Снаряды рвали в клочья взрытую землю. В окопы летели щепки крестов.

— Господа офицеры, по местам. Надо ждать атаки.

Наши пушки молчали. Артиллерийский офицер возился около Кривдина и все время передавал что-то по телефону своей батарее. Германцы били без перерыва. Снаряды стали лопаться впереди кладбища, там, где находились проволочные заграждения. Там же были волчьи ямы.

Курносый Башмакин стоял у бойницы и мотал головой. Подбородок его вытянулся, и казалось, что он ввинчивается в пространство.

— Ну и рвет, ну и рвет, чисто на шматки. Прямо бреет, сукин сын, аж ни одной ниточки не осталось, — не отрываясь от бойницы, говорит Башмакин и не перестает мотать головой.

Я отодвинула Башмакина и сама стала у бойницы. Траншеи немцев казались безжизненными. Но вот через козырьки окопов вылезло несколько фигур. Они подобралась к своей проволоке, закопошились и стали снимать рогатки.

Впереди, где еще так недавно имелись наши заграждения, было свежее взрытое пространство. Кое-где лишь торчали голые колья.

Немецкие снаряды оглушительной поступью продолжали шагать по нашим окопам. Они ударили в плотину, вздымая вороха земли. В миг что-то лопнуло, и пруд стремительно хлынул, падая шумными каскадами через плотину. Забурлила, бушуя, белая пена. Колесо мельницы перестало вращаться. Артиллерист подал команду, батареи открыли огонь. Немцы двинулись по спелому житю. Орудия били залпами, убитые и раненые германцы покрыли собою несжатое поле. Впереди бежали редкие цепочки. За ними показались небольшие

группы. К немцам спешили резервы. И новые линии, прикрывая движение новых колонок, лезли в нашу сторону. У пулеметов выросли кучи стреляных гильз. Солдаты не отрывались от бойниц, посылая наступающим пулю за пулей.

Не прекращался рев неприятельских орудий. Уже третий взвод нашей роты, оставив в окопах половину людей, перешел в резервную линию. Немцы приближались все ближе и ближе. Вдруг раздалась команда офицера:

— За бруствер, в контр-атаку! Ура!

Командир роты прапорщик Ерош, отстегнув шашку, схватил первую попавшуюся ему винтовку убитого солдата, стал взбираться по ступенькам наверх. Из соседних окопов вылезла вторая рота. Спешил на помощь прибывший резерв. По ржаному полю покатилося «ура», у немцев оборвалось «гох». Все смешалось. Немцы и наши пошли в штыки. Какой-то крупный немец набросился на нашего солдата, казавшегося ребенком перед ним. Солдат устремил глаза, полные ужаса, на кончик плоского германского штыка и, выронив винтовку, схватился за неприятельский штык. Падая с проткнутым животом, он не переставал тужиться, стараясь остановить неумолимый ход стального ножа. Грохнул снаряд. Люди заматались, бежали кто вперед, кто назад.

Вдали застыли наши и немецкие резервы.

Снова раздались пушечные залпы.

Резервы тех и других попятились к своим окопам. Медленно, шаг за шагом.

В это время замолкли и пушки.

*

Сожженная июльским пеклом, тихо журчала речушка.

Обросшая мхом водяная мельница молчала. Порывы ветра поднимали рожь. Воздух заражен трупным запахом. Люди отталкиваются от бойниц, прячут лица в растянутые гимнастерки. Трофим отвалил заступом лопаты пласт земли. Припал лицом к чернозему, вдыхая его аромат.

В полдень со стороны немецких окопов показалась группа людей. Они шли в нашу сторону с белым флагом. От нас высылаются два офицера. Немцу завязывают глаза белым платком, ведут к нам. С парламентарием объясняется Замбор. Обе стороны договариваются убрать трупы.

Я иду возле угрюмого солдата пулеметной команды Иванова. Во ржи валяются немецкие каски. Под серым чехлом блестит черный лак германской каски на чудовищной голове. Глаза человека вышли из орбит. Коричневая набухшая кожа лопнула возле ушей. Рядом ничком до земли лежит наш солдат. Половина его че-

репа срезана осколком снаряда. Раскинувшись, лежит прапорщик Ерош. Усатый жук-дровосек пилит крышечку портсигара, валяющегося у ног прапорщика.

— Страхилаты-то какие, господи, до чего ж их разворотило,— ужасается фельдшер.

Санитары копают яму.

Угрюмый Иванов выругался на все поле и потом тихо-тихо заговорил:

— Эх, сюда бы тех, кто затеял это все. Носом бы ткнуть! Сволочи.

— Кого ругаешь?— спросила я.

— А тебе это знать надо, добровольная ты дура!

Иванов зло ухмыльнулся и отошел в сторону. Июльский полдень стал жарким и душным для меня, как никогда. Мне стало страшно. Я испугалась слов Иванова.

*

Убитых закапывают. Полковой священник усердно машет кадилом. Сладкий запах ладана, смешиваясь с трупным, действует тошнотворно. Умерших засыпали землей. Над могилами кружится мошкара.

*

Имея хоть малейшую возможность двигаться самостоятельно, раненые шли на пе-

ревязочный пункт. Пулеметчик Кириллов с трудом проходил по ходу сообщения. Недалеко от него, влево, разорвалась шрапнель.

— Поскорей бы отсюда. — Кириллов, корчась от боли, ускорил шаг. Его окровавленная шинель спадала с плеч. — Не задело бы снова, — повторил Кириллов и, то падая, то снова поднимаясь, спешил из окопов.

Новый командир полка полковник Плахов набивал трубку путающимся в пальцах длинным табаком.

— Остановить! Стой, сиволापый! Задержать! Почему прошел, задел меня и не извинился? — Полковник Плахов кольцами выпустил табачный дым. Унтер полицейской команды задержал Кириллова.

— Сиди здесь, куда спешишь? Не пускать его в тыл. Пусть отсидится.

— Ваше высокоблагородие, пустите, пустите меня, плечо горит. Пощадите, ваше...

— Ничего, успеешь.

Кириллов просил полковника, вырывался у полицейского, падал, снова поднимался, умолял отпустить поскорее отсюда. Потерял сознание. Бережно поддерживаемая им раненая рука тяжело ударилась о землю.

Вечер поглотил отдаляющийся дым трубки полковника.

Мы подняли Кириллова. Он очнулся.

— Все равно теперь. Лишь бы домой

поскорее. А там всей деревне расскажу, чтоб знали люди, за что воевать надо. Давид Маркович-то правду говорил: за землю, за свои интересы крестьянские воевать надо. Долой их, лихоедов. За что надо мной издевался?

— Раненым не погнушался, — подтвердил санитар.

— Ну, как? Сдюжаешь итти? А то мы на носилках отнесем. Вон они у меня. Давай. Зинка, подсоби малость.

— Больно мне, кость раненую скребет. Мы понесли Кириллова.

— Здоровая ты какая стала, Зин. А приехала к нам — щуплая да хилая была. Думали — ветер дунет, упадешь, а гляди-ка теперь, — сказал санитар.

Мне стало тепло от ласковой улыбки санитаря и Кириллова.

*

Шли дни. Я видела здесь много горя и мало радости. Еще недавно я старалась не всматриваться в страдания людей. Порой я задумывалась, вспоминая разговор с Шанским, но мне хотелось отогнать от себя все злое и скверное в жизни, хотелось еще пожить так, чтоб видеть только хорошее. Когда в окопе лежал в предсмертной агонии австриец, я дала ему пить и ушла к разведчикам. Там играли на гармошке, и

там было так весело. Я присоединилась к разведчикам, и мы плясали русскую. Плясали, забыв про умирающего австрийца, брошенного к нам в окопы. А вечером, когда я осталась одна, я всячески старалась забыть образ австрийца. Наутро, когда я проснулась, мне снова вспомнился тяжело раненый. Я быстро начала одеваться. Наклонилась к сапогам,— на земле валялась клоунская маска, сделанная разведчиком. Я схватила маску и выкинула ее за траверс.

Сейчас, в эти июльские дни непрерывных боев, не было улыбки. Все чаще и чаще мы встречались с Шанским, Сашей, и там бывал Иванов. Он угрюмо поглядывал на меня во время походов, дважды встретился со мной плечом к плечу в бою. А вчера сказал:

— Может, ты и права, если свое докажешь, что девка, мол, тоже воевать может.

— А разве это не так, Иванов?

— Если потребуется, то моя Настя оставит завод и тоже пойдет. Поняла?

Но я не поняла, почему так строго и гневно прозвучали его последние слова. Каждый раз при встрече с Ивановым я сердилась на себя,— почему я говорю с ним не так, как с другими солдатами, а каким-то заискивающим тоном. Может быть, потому, что я добивалась его доверия? Мне хотелось, чтобы он считал меня

равной себе. Но ни отвагой в бою, ни терпеливым сидением в окопах, ни выносливостью в переходе я не могла вызвать у него доверия.

Эх ты, жисть-прожисть горемычная!
Пойти куда? Кому жалиться?
Кто поверит нам, доброй душенькой
Откликаючись...—

заунывно тянет свою песню Трофим.

— Садись, Саш, на пенек, обождем Зину-то. У меня к ней просьба есть: письмо в Липки хочу отписать.

Я выхожу из стодолы.

— Пошли, Зина, в хату, письмо домой напиши.

— Пошли. Пойдем и ты, Гусев.

Саша отогнул рядом на моей постели, чтобы не запачкать пыльными сапогами, и лег. Трофим сел в углу под иконостасом, украшенным бумажными цветами. Облепив печку, группами грелись тараканы. Стреко-тал назойливый сверчок-невидимка. Склонив голову над не покрытым скатертью столом, остро отточенным карандашиком Трофим выковыривал въевшуюся грязь из щелей стола.

— Ну, думай, Трофим, буду писать.

Вначале я перечислила поклоны к его родным и изредка спрашивала Трофима, кому еще кланяться.

— Ну, теперь пиши про самый серьез.

Однородная моя Клавдия Касьяновна.

Душа моя тоскою изошла, прописанные в письмеце твоём жалобы на недород жита острой бритвою сердце мое полыхнули. Оборвалось у меня в груди чего-то, голова — как чугуновая. Аппетита до еды не стало. Беда тебе с Машуткой и Васькой. Любезная Клавдия Касьяновна, пропишу тебе про свой сон: будто спал я на полатах в своей избе, а паучище огромادный, до моего носа спускавшийся, кровяную выблеывал паутину да всего опутал меня красной ниткой. Теснота во всем теле приключилась, не знать, как проснулся, только страх меня обуял, — креститься почал. Не к добру, Клавдюшка, сон такой.

На этих строчках Трофим замолчал, углубился в свои думы. Поставив точку, я чертила карандашом круг за кругом. Саша храпел. Где-то за печкой стрекотал неутомонный сверчок. По улице, прогалопировав на своем сером коне, штаб-горнист Лукьянченко играл сбор.

Глава шестая

Пыля на Синуху, ушел авангард. Полк ожидал его отдаления. Батальоны устроили привал на окраине села. Роты разбили свой строй. Солдаты не ставили ружья в козлы. Каждый держал винтовку в руках. Огромное горячее солнце спускалось к горизонту на тормозах. Его косые лучи лезли под кожу. Они расплавляли нутро.

Трофим сидел под тыном и снимал сапоги. Саша, подымаясь на корточках, лез из себя. Он старался наткнуть на штык зрелое яблоко. Деревя помещичьего сада были густо усеяны фруктами.

— Смотри, — бросил Трофим, — не попри ему пузо. Как бы барин не потянул за потраву.

— Барин... Велико теперь дело, к мировому далеко, нас, так сказать, немец рассудит, — ответил Саша, обтирая с винтовки яблочный сок.

Терехин, просушив портянки, натянул сапоги.

— Водички б испить,— ссохшимися губами сказал Трофим и стал обводить зрачками все закоулки околицы. Вместе со зрачками неотступно бегал обтянутый паутиной красных ниточек воспаленный белок.

На околице стоял помещичий дом. Ленивым шагом пошел он туда. За ним двинулось несколько человек. Всем им хотелось пить. Долго стояли они у ворот, не решаясь войти. Гусев отделился от группы и вошел во двор. Через минуту показался работник с водой. Он не выпускал ведра из своих рук, поочередно поднося ведро к спекшимся губам солдат.

— Становись! — крикнул фельдфебель «рашпиль». Вытираясь на ходу рукавами, солдаты ринулись в строй.

Вдали над авангардом повисли пыльные простыни, они были ярко окрашены лучами заката. Авангард растянулся по выбитой дороге, поднимая к небу тучи пыли.

На последний свой порох грело солнце. Вместе с тем казалось, что оно растворилось в воздухе. Воздух становился все более горячим и тяжелым. Стало невыносимо трудно дышать. Вяло передвигались роты.

— Песельники, вперед! — покатилося с головы батальона.

Песенники, обгоняя ряды, лениво пробирались вперед.

Терехин не пел, хотя и любил слушать солдатские песни.

— Хороша песня — нутро зажигат, — говаривал он.

Теперь Терехин был недоволен. Когда песенники затянули «Горные вершины, я вас вижу вновь», он вполголоса бросил соседу:

— Ишь, черти, в такую жару заставляют людей песни играть.

— Молчи, Трофим, а то кабы у тебя душа не заиграла, — посмеиваясь остановил его Саша.

...Горные вершины, я вас вижу вновь...—

надрывали свои голоса запевалы. Солдаты подхватили:

...карпатские долины, кладбища удалцов...

Обрывалась песня на пересохших губах. Капитан Крапивянский подхлеснул свою рябую «Грациану» и потрусил вперед. Песенников отослали в ряды.

Через полчаса устроили малый привал.

— Вольно, оправиться, — привычно бросил ротный.

Походы уже не сбивали меня с ног. Я все больше и больше втягивалась в походную жизнь и была довольна своей закалкой. На меня уже смотрели, как на равного спутника.

— Ничего, не плохо вычистила винтовку. Немножко затвор надо протереть.

Иванов поставил на место мою винтовку и взглянул на меня добрыми глазами, казавшимися порой такими угрюмыми. Он ведь всегда смотрел исподлобья.

Через полчаса мы двинулись дальше. Не то ли похвала Иванова или небольшой отдых, но я бодро зашагала вперед.

Вправо от дороги появился редкий кустарник. По мере продвижения он стал учащаться. За ним вырос лиственный лес. Под навесами кленов ютилась дорога.

Впереди у крутого поворота из-за густой листвы в небе вырос огромный, тягучий язык. Ежесекундно росла вылезшая туча, как будто там, за лесом, ее накачивал огромный насос.

Не прошло и десяти минут, как все задернулось. Еще миг, и небосклон стал непроницаемым. Внизу потемнело. В немой тишине жались друг к другу испуганные деревья. По верхушкам леса, словно в мягких туфлях, ходил ветерок.

Как в бане, стало душно в рядах.

Люди без разрешения расстегивали гимнастерки.

— Быть грозе, — тихо промолвил Трофим.

При одном слове «гроза» меня бросило в холод. Я перестала ощущать невыносимую жару. Вспомнился дом. Там спа-

сением от грозы служила кровать. Но здесь нельзя было закрыть ни дверей, ни окон. Здесь не было ни одной подушки, куда можно было бы зарыться с головой.

От страха у меня в голове сверкали молнии и с грохотом катились чугунные бочки. Я жалась к Терехину, а Гусева взяла за рукав.

Вспыхнуло за лесом и миг погасло пламя костра. Забелел лес в небывалом сиянии. Серебром блестели стволы деревьев.

Не успел погаснуть чудеснейший фейерверк, как где-то вблизи грохнул о землю гигант-небоскреб. Точно бесконечные этажи, громы нагоняли друг друга и со страшным треском уходили в недра земли.

На один миг полк словно повис в воздухе. За первым грохотом где-то вдали глухими перекатами зашумели отдельные кирпичи и кирпичики.

— Господи, Сусе Христе, спаси и помилуй нас грешных.— Терехин часто замахал перед своим почерневшим лицом.

Я невольно крикнула «ой» и прижалась к раскисшему Сашке. Лица солдат собрались в кулак к самому носу. Удлинились носы. Даже у курносого Башмакина нос получил какую-то видимость. У всех стали маленькие лица и большие глаза. От разрядки могучего тока воздух стал легче, и легче дышалось.

Тихо урчало за горизонтом. Урчание

близилось и нарастало. Звуки усиливались. Люди ждали удара.

Невидимый ятаган разбойничьим махом распорол небеса. Ослепительная ртуть залила огромный разрез. На один миг ослепли глаза.

Я боялась раскрыть веки. Ждала удара. Удар раздался в самом лесу.

Стало светло на дороге, как при вспышке магния. Батальон шарахнулся от леса. Строй стал разбиваться. Роты перепутались.

Ряды двигались в беспорядке. Меня потянуло вперед. Если б куда-нибудь спрятаться. Казалось, что лучше огонь тысячи орудий, чем еще один удар этой ужасной грозы.

Я очутилась в голове батальона. Подполковник Кривдин был бледен, как луна. Вне обыкновения он передвигался пешком. Своему ординарцу с конем он велел идти в голове батальона.

Кривдин обернулся. От зрелища беспорядка в рядах его покорило.

— Черти!.. — Не успел крикнуть Кривдин, как новый удар заглушил его крик.

Над штыком солдата Ерохина вырос бесконечный, потянувшийся в небо огненный штык. Единым тяжелым охом вздохнула вся первая рота.

Кривдин запнулся на слове. Дрожащей рукой он закрестился. Отвернувшись от фронта, он вытянул ладонку. Синими гу-

бами он стал слюнить ее пропотевшую ткань.

Черный, как порох, лежал на земле Ерохин. Черная рука впилась в винтовку. Штык изогнулся крючком. На расстегнутой груди Ерохина лежал крест.

— В землю б его закопать,— отойдет мужик.

Фельдфебель первой роты робким шагом подошел к Кривдину.

— Вашескородь, дозвольте взять винтовки до земли.

Кривдин уже успел опомниться.

— Что за бестолковщина спрашивать. Самому надо знать.

За лесом раздался оглушительный взрыв. Две-три капли дождя упали с неба. Следом за ними дождь полил неудержимой волной.

Небо распоролось. Через все прорехи вниз устремились потоки воды.

Как цыпленок ежась, я снова очутилась рядом с Терехиным. Трофим втянул голову в плечи. Его губы беспрестанно шептали. Он весь как бы отсутствовал. Мне хотелось с ним говорить. Но было ясно, что он меня не услышит.

Солдаты продолжали шлепать вразброд. Я беспрепятственно продвинулась к Саше.

— Саша, что ж это будет?

— Ишь, как голос-то у тебя размяк. Все уже было. Хужею не бывать. Илья

пророк с финтифлюшками на лихаче прокатился. А форменно стерва бьет. Какие зигзаги пускает, видела? Поддает форсу бабам Илья. А нашему Ерохину от этого форсу каюк.

Мне хотелось говорить, отвлечься, но дождь шел с такой силой, что казалось, будто размокли не только ноги, но и язык. Трудно было им шевелить.

Ноги скользили, оставляя по дороге длинные полосы. Спустя полчаса сапоги стали обвисать комьями грязи.

Лошадь Кривдина впереди батальона тащила на себе его сухое, как мумия, тело. Шлепая по вязкой похлебке, она обдавала головные ряды грязью. Кутаясь в резиновый плащ, мурлыкал полковник.

Люди сильно промокли. Я сидела, словно в бочке воды. Струйки дождя попадали за воротник и катились по дрожащему телу. Ткань набухала и липла к телу и ногам. Холодными гусеницами вода поползла по ногам, в сапоги. Вскоре в них образовалось вещество липкое, как вазелин.

В рядах слышались голоса:

— Шинеля б раскатать.

Другие голоса подхватили.

— Шинеля, шинеля,— раздалось по всему батальону.

Офицеры молчали, словно мертвые. Капитан Крапивянский продвинулся к Кривдину:

— Шинеля следует раскатать. Люди промокли.

— Не разрешаю,— отрезал Кривдин,— на ночлеге нечем будет укрыться.

— Высушат.

— Не разрешаю.

Сопровождаемые неотступным дождем, ряды ползли вперед. Стемнело. Солдаты разговаривали, и даже кое-где вспыхивали огоньки козьих ножек. Начальство сделалось слепым и глухим.

Терехин шел молча, задумавшись. А быть может, он спал. Голова его болталась как привязная. Вдруг он поскользнулся и вмиг выпрямился. Последовал вопль впереди идущего солдата. Его соседи закричали:

— Носилки! Носилки!

Солдат получил штыковую рану в бедро. Терехинский штык пропорол солдата.

К Терехину подбежал фельдфебель.

— Баран, куда твои бараньи банки глядели? — С этими словами он замахнулся своей жирной рукой.

Вдали послышался отдаленный грохот, похожий на столкновение двух поездов. На секунду матовым светом ослепились мокрое небо и горизонт. Фельдфебель разжал занесенный кулак и стал степенно креститься.

— Баран бараном и есть, — бросил он и этим разрядил свою злость.

Ротам было приказано взять винтовки по-обычному. Над батальоном выросли штыки.

В темноте, на фоне обмытого неба вырисовывались, как вырезанные из бумаги, контуры села. Там с визгом лаяли десятки собак. Собачий концерт сопровождал приход авангарда. Грудь раскрылась. Ноги пошли легче. В воздухе стоял едва уловимый запах вкусных щей.

Ряды сами по себе уплотнились. Сосед лип к соседу. Нога применялась к ноге. В вязкой грязи появились отзвуки четырехтактного шага. В деревню входили части полка.

Офицеры подтянулись, подполковник Кривдин гремел.

Без вызова в третьей роте затянули «Чубарики, чубчики»...

Полковые кухни стояли на церковной площади. Около них возились повара. Над огромным корытом люди чистили горы картошки. От кухонь в небо вился штопором дым.

Тут же, на площади, на общественных дубках солдаты ждали ужина. Гармонист выводил «барыню». Кто-то колотил ложкой по солдатскому бачку. Сменяя друг друга, люди пускались в пляс.

*

Три батальона ставропольцев сменили 76-й Кубанский полк, ушедший в деревню на отдых. Четвертый батальон ставрополь-

цев находился в резерве, в деревне Синуха. Пятая рота, в которую я была послана для связи, подковой огибала замок графа Богуша. Изрешеченный пулями белый дом с колоннами бдительно охранялся дряхлым лакеем графа.

Я решила осмотреть покои графа, о которых так много говорили.

Сумерки. Я брожу по бесконечным антресолям замка. Вот в этой комнате до прихода русских стоял австрийский штаб. В большом зале посредине стоит стол, на нем обрывки бумаг, стружки карандашей, обломанные куски сургуча. Пропитанная пылью зеленая скатерть закапана стеарином, разлитые чернила размазаны «чортиками». В обоих концах стола поставлены высокие кресла с резными спинками. Стулья отодвинуты в беспорядке. Колонны зала увиты гирляндами давно увядших цветов. У овального окна к выходу в голубую комнату поставлен рояль. Крышка рояля приоткрыта. Из-под обломков штуркатурки виднеются струны рояля.

На обложке упавших нот напечатана голова женщины в черном кивере. Я открыла ноты, с трудом разобрала строчки:

З напикнейших вар-шавянок

Сформуем мы полк уланок.

Раз, два, тиш... раз, два, тиш...

Будуар графской внучки обит тонким нежно-розовым шелком. Под моими ногами захрустели разбитые стекла. На туалетном столике, покрытом голубым тюлем, опрокинуты духи. Розовые банты, прикрепленные по бокам столика, засыпаны пудрой. Пуховка и пудреница брошены на пол. С окон спадает оборванный шелк занавесей. Камин наполнен грудой обуглившихся конвертов.

Чуть приоткрыт полог кровати, и...

там сидела кукла в розовом капоре, в пальто из розового плюша, а в ее черные локоны воткнут миниатюрный бутон розы. Надменны пухлые губы куклы, а черные глаза, как агаты. «Будешь со мной, я тебя возьму и отнесу в окопы»... И, все-таки не решаясь ее взять, я подбадриваю себя пришедшим в голову мотивом: «раз, два, тщи», хватаю куклу и выбегаю с ней из будуара.

Теперь надо поскорее выбраться из замка. Потом посмотрю остальное.

Скорее! Уже надвигается вечер.

Я прошла зал, очутилась в длинном коридоре. Сейчас направо. Нет. Не сюда. Вот здесь. Толкаю дверь. Там небольшой коридорчик. Иду налево. У выхода на веранду мне преграждают путь деревянные ящики, полные бутылок. Нет, я тут не проходила. Следует повернуть обратно. Где же выход? Темнеет, и позже я уже

ничего не разберу в этих бесконечных коридорах. Ведь дверь к выходу в парк была именно здесь. Неужели я ошиблась? Я все перепутала. Иду в полутьме. Пустяки. Нечего бояться. Но... в замке тихо и страшно. Я чувствую усталость, словно я прошла несколько километров.

Откуда винтовая лестница? Это, наверное, выход в мезонин. Решила посидеть, успокоиться и припомнить выход. Из розовой комнаты я могла выйти через окно, зачем я пошла сюда? В темноте шарю по стенке.

Скрипнула дверь. По ступенькам лестницы я слышу шаги шлепающих туфель. Прижимаю куклу. Скрипя открылась маленькая дверца. Горящие свечи канделябра освещали старика в черном фраке.

— Матка бозка, Езус Христос, — забавка паненки Зоси в ренках жолнера.

Затряслись руки старика. Погасли свечи выпавшего из рук канделябра. Звон фарфора... Кукла разбилась. Глухо и мертво отозвалось эхо в замке.

Как шальная, я бросилась бежать к освещенному луной выходу в зал. Ноги старика шаркали вслед. Я остановилась в зале у окна, перевела дыхание.

Монументом стоял старик в огромном зале. Бакенбарды графского лакея серебрились при лунном свете.

Выпрыгнув из окна, я очутилась на ве-

ранде. Я обрадовалась. Да. Я обрадовалась вою разорвавшегося снаряда. Ведь тут сейчас, через несколько минут, я увижу людей, я буду среди живых людей. Услышу их голоса. Скорее!

Я положила горячие ладони на белый мрамор, вытянулась и перепрыгнула через перила в парк.

*

Мы пекли в золе картошку. Денщик Кривдина рассказывал нам о своем командире:

— Кривдин-то мой, как покладутся спать, завсегда кричит: «Осип, где мои полковничьи погоны?» Дам ему золотые погончики, а он их покладет под подушку и завалится спать. Утром кричит мне: «Осип, я полковник?»—«Так точно, говорю, подполковник». А они тогда как закричат на меня: «Не подполковник я, сукин сын, а полковник!» Это, значит, они себя во сне увидели в следующих чинах, а на другой день опять: «Осип, где мои погоны?» И так каждый вечер. Надоел до смерти, пущай бы уж взаправду нацепили ему эти погоны высших чинов, успокоились бы они.

Денщик закончил свой рассказ, передохнул и снова заговорил:

— А про подземный-то ход слышали?

В полку распространились слухи о какой-то минной галлерее, таинственно шептали о подземном ходе под замком графа, ведущем якобы к австрийцам. Во время обыска вместо предполагаемых приспособлений для сигнализации, будто бы хранимых старым лакеем, офицеры натолкнулись на боченок с наливкой. Распив напиток, офицеры высунулись в окошко, пролезли через него на крышу, долго спорили, размахивая руками. Замок находился под бдительным наблюдением австрийских артиллеристов. Дебош офицеров не ускользнул от их зорких глаз. Батарейная очередь гранатой заставила командиров кубарем скатиться с крыши.

Вернувшись в окопы, офицеры, перебивая друг друга, рассказывали Кривдину о том, как они, рискуя жизнью, нашли запрятанные лакеем ракеты, которыми он, по их уверению, сигнализировал австрийцам. Кривдин, ударяя себя ладонями по коленям, возмущался: «Каналья, пся прев, каналья».

✱

Гул и невыносимый грохот стояли вокруг. Наконец граната сменилась шрапнелью, и ее жужжание было передышкой для всех. К вечеру, охнув последним залпом, замолкли пушки.

— На, отнеси в штаб полка. Конверт принесешь обратно. Аллур два креста.

Поручения я всегда выполняла точно, и мне нравилось, что меня посылают с донесениями так же, как всех связистов. Но такие поручения мне давал только капитан Крапивянский. И вдруг донесение от Кривдина. Только мне не понравилось, почему он так странно ухмыльнулся.

Чтобы пройти в штаб полка, надо выйти из хода сообщения, миновать темный графский парк. Не раз я вспоминала вихрастого мальчишку в Бродах; ведь он тогда мне говорил: «Ты девочка, и тебя на войну не пустят», — а вот я теперь шагаю как солдат, ношу донесения и умею стрелять.

Темная, беззвездная ночь. На расстоянии пяти шагов ничего не видно. Редкие ружейные выстрелы. Тихо. Я вошла в сосновую аллею. Она глухо шумела черными ветвями. Мрачный и суровый стоял ночной парк. А вот начинается аллея лип. Они недавно отцвели. Но ночь еще дышит их пряным ароматом.

— Кто это? — Я слышу чьи-то шаги. Торопливо и быстро они надвигаются на меня.

— Я долго вас ждал, Зиночка. Зина, послушайте меня.

Поручик Замбор.

Еще темнее показалась мне ночь.

— Зина, я прошу вас, девочка...

Поручик схватил и прижал меня к себе.
— Оставьте, как вы смеее?

Замбор неожиданным и сильным рывком выбил у меня из рук винтовку.

— Я все для вас сделаю, Зина. Хотите, я подарю вам своего «Маркиза»? Я...

Резким движением я толкнула Замбора в грудь.

— Не отпущу тебя, не отпущу... Слышишь...

Он запрокинул мою голову и закрыл рот ладонью. Слышу, рядом кто-то кашлянул.

— Иди сюда, Петр. Держи ее. По уговору и твое не пропадет.

— Вашблагородь, вашблагородь...

Близко, совсем близко я слышу знакомый голос. Так вот как! Неужели он мог?..

Из сотни голосов я узнала бы этот угрюмый голос солдата Иванова. Иванов, к которому у меня было такое уважение, солдат, похвала которого вселяла в меня столько силы и бодрости. Пулеметчик Иванов, которого я называла на «вы», потому что хотела ему показать этим обращением какое-то глубокое уважение к нему.

— Давай, давай, тащи ее сюда. Говорю, и твое не пропадет.

— Иванов, как ты смеешь? И ты с ним заодно? — Впервые я ему сказала «ты». — Помогите!.. — кричу сильнее. Я слышу над собой запах спирта и пряный

аромат поручика, — такой, как там, в аллее лип. Замбор шепчет что-то неясное. И вдруг на меня дохнуло махоркой, чья-то сильная рука отдернула поручика.

— Мерзавец... Обманул... Арестую. Отказываешься? И мне помешал. Сволочь. Под арест! Хамское отролье.

— На ее защиту и пошел с вами. Не на такого нарвались, вашблагородь... Давай руку, Зина. Идем.

Он повел меня за руку...

Иванов.

Я шла с ним вместе по ночному парку. Кровь прилиwała к лицу, но Иванов не видел этой краски стыда, благодарности и моей непоправимой вины перед ним.

Ничем, ни одним словом или поступком пулеметчик Иванов не мог вызвать у меня такого сомнения, а я заподозрела его в гнусном поступке поручика.

*

В штабе полка дежурный офицер прочел донесение Кривдина и громко рассмеялся: «Сирена гудит, собаки воют, лакей шпионит, пятая рота готовится к наступлению». Офицер прочел донесение еще раз и подошел к телефону. Он рассмеялся в трубку, затем со смешком разрешил мне уходить.

Недалеко от штаба меня ждал Иванов. Я рассказала ему про донесение.

— Ты была нарочно послана. Поняла? Берегись, Зина, офицерьа.

*

Прошло много дней. Замбор не арестовал Иванова. Офицеры смотрели на меня и посмеивались. Замбор ходил перед офицерами довольный и при моем появлении лихо насвистывал. Офицеры громко смеялись.

И только я да солдат Иванов знали правду о неудавшейся затее поручика.

*

Двенадцать пеших разведчиков откомандированы в конную команду разведчиков. Меня тоже перевели туда вместе с Сашей. Мы стояли в фольварке Угра, в пяти километрах от замка. Мне дали гнедую кобылу с белой проточиной на лбу. В конюшне рядом с ней стояла Сашкина лошадь «Черемуха», вороной масти, а ноги от колена белые. Недалеко жевал сено конь «Пантелейко».

— Ты, дурний, Запорожец, перемени сено своему «Пантелейке». Мокрецы у него поробляться.

— Ну на що мені дали таку коняку: ноги у меня по земле волочаться, як сяду на нее. Сміх з неї.

— Да тобі яку коняку ни дай, все маленька будет.

— Верблюда ему надо,— заметил Саша.

— Знаю про верблюда. Не ты один их бачил. На Дон я с батькой ездил, видал таку штуку.

— Да, на Черешенков стан коняку-то не подберешь,— улыбнулся Запорожец.

Разведчики ушли. Я осталась одна. Моя лошадь повернула ко мне свою бархатную морду и заржала. Я угостила ее сахаром. Я не знала, как ей выразить свою радость,— так давно хотелось иметь коня. Я завязала «Гному» хвост узлом и улеглась возле лошади, свернувшись ежиком.

— По коням!.. — раздалась команда подпоручика Никольского, начальника конной команды разведчиков. За круглую фигуру, яркий румянец на щеках и вздернутый нос весельчака Никольского солдаты прозвали Акулькой. Студент Никольский недавно окончил школу прапорщиков, был ранен, и теперь его произвели в подпоручики, а он все еще носил одну звездочку.

Протяжение «шагом марш», и разведчики двинулись.

... Лети же, верный мой товарищ... —

затянул тенор Никольского и тут же оборвался, словно подпоручик только что вспомнил, что он на войне.

— Опередим наш авангард, и айда. Это

тебе не брюхом ползти, а, так сказать, на коне, дело-то подходящее. Терехина бы повидать. Скучно стало за человеком. Привычка — она заковычка. Трофим мужик хороший, ничего не скажешь.

Три километра мы прошли шагом, потом Акулька повернул разведчиков к парку Богуша. Вскоре нам повстречался Замбор на своем «Маркизе» и с ним три ординарца. Они громко пели, голоса их были пьяны.

Звенья стременами, мы въехали в рощу, за парк Богуша.

— Повод влево... — скомандовал Никольский. Лошади шарахнулись в сторону.

Под старым дубом раскачивалась темная фигура повешенного человека с поникшей головой, и по ней, освещенные луной, кружились тени листьев, неотступно, как мотыльки. Я узнала графского лакея. Ветер трепал его седину.

Повод выпал из моих рук. Я зарылась в гриву лошади. Стремительным прыжком лошадь прыгнула вперед.

— Висит шпион и нехай висит, — сказал кто-то.

— За что погиб человек? — сказал Саша.

Далеко за парком и рощей слышалась пьяная песня Замбора.

*

Заря румянцем легла на деревню. Тихо и пусто. Только вдали на дороге купалась

в пыли курица, да скрипел колодезь-журавель.

— Если что случится, держись крепче в седле, Зина, и за мной айда.

— Да нас ведь много. Чего случится?

— Это чепуха, так сказать, что много. У австрийцев кони из Венгры,—быстрый ход имеют.

Взмахивая руками, на дорогу выбежала крестьянка. Саша подскочил к ней.

— Чего хочешь, говори.

— Майте жалість, дочку мою ранило, кровью истекает в хате. Ой, боже ж мий. Ой, лишенько... Поратуйте, москалики...

Гусев оторвал свой индивидуальный пакетик от шашки и бросил мне:

— На, Зина, сбегай в хату. Ежели что неладно, я свистеть буду.

В хате на полу на соломе лежала девочка. Кровь лилась из ее раненой руки; лицо прозрачное, ни кровинки.

— Ма-м... ма-ма...—зовет дочка. Ее тонкие русые косички забрызганы кровью.

— Звидкеля ты взялся такой маленький хлопчик? Дитятко, тай теж в москалях,—говорит женщина, рассматривая меня.

Я туго перевязала руку девочки выше локтя. Кровь приостановилась. Я положила на подушку голову раненой. Она устала на меня, ее рот приоткрылся. Тихо хныкая, она смеялась.

— Ой, голубонька моя Ксана. Ксанка... Дивись, який хлопчик. З него, мабуть, смеешься? Полегчало тобі, серденько мое, Ксана...

Девочка повернула голову, потянулася к матери и застонала.

На расшитый в мелкие крестики передник Ксанки падали крупные бабьи слезы.

*

Большие потери понесены 73-м Крымским и 76-м Кубанским полками. По дороге шли повозки, на них увозили раненых в тыл. За повозками, опираясь друг на друга, передвигались раненые. В нашем полку сильно пострадал второй батальон.

— Зина, скажи ребятам... Шанского убило. Скажи Гусеву. И передай ему вот этот сверток. Тут бумаги какие-то. Его, Шанского, бумаги.

Давида Марковича убило снарядом. Больше я не расспрашивала солдата. Рядом всхлипывал разведчик:

— Жалко, Давидку убило. Всего, говорят, разорвало гранатой.

Недавно, еще совсем недавно мы разговаривали с Шанским, он стоял близко возле меня, и сейчас он убит. Его смерть словно коснулась меня самой, стало страшно, но внезапный страх прошел, я почувствовала себя вдруг старше. Что-то толка-

ло меня к действию, я утешала бородатого разведчика, увидела Сашу и крепко сжала ему руку.

— Убит, значит. — Саша смотрел в одну точку и долго так стоял. Потом резко поднял голову и пошел к разведчикам.

Я осталась одна.

По ночной, темной дороге тарахтели подводы, увозя раненых в тыл.

*

Климыч получил из дому письмо и нераспечатанное дал мне.

— Чего пишут-то? Прочитай, Зин.

— Садись, буду читать.

«Тебе, дорожайший наш Василий Климыч, шлем наше нижайшее. Три месяца, как я из госпиталя выписался. Теперь на костылях хожу. По чистой уволили. Землицу в нашей округе после спожинок урезали и подати начали собирать для нашей бедности непосильные. У Михайлы Курикова под спаса рябую кобылицу его со двора увели за недоплату податей. Баба его с Аксюткой-годовалкою как стояла середь двора и так упала с дитятком до земли и низкие поклоны бить уряднику почала. И дитятки того не жалеючи, пхнул он бабу ту, Михайлы Курикова, по грудях ее молочных. А вечером Синебрюхова Иннокентия, нашего лавочника, приказчик

две четверти водки в волость потащил. А поповская Прасковья толстозадая, перед урядником покрутившись, жареную индюшку на стол поставила. Эх, браток, невдомек мне, зачем войну ведете? Крестом тебе до сырой земли крещусь, издевку правят над нами верховоды проклятые, кому война эта нужна, воевать за добро помещичье. Дальше так невтерпеж. К тебе, дорогой братец, с почтением с тобой в близких родствах состоящий Кузьма, Клима Гаврилова сына».

Климыч взял письмо и спрятал конверт под подкладку своей фуражки.

— Климыч, а кто тебе письмо привез?

— Земляк вернулся в окопы. Идем, вон наши собрались.

Около церковной ограды сгрудились конные. Увидев меня, Акулька замахал рукой:

— Гусев, Зинаида,— ко мне.

По сведениям, полученным у пленного, австрийцы окапываются в двух километрах за деревней Симки. Разведчики были посланы на батарею и в штаб полка.

Я дала шпоры коню. Вслед раздался голос Никольского: «Короче, короче». Я переехала «Гнома» на рысь и так выехала из деревни.

За деревней начинался лес-молодняк. Вправо от дороги шумела залитая осенним золотом роща. Словно накрахмаленные

причудливые кружева зашуршали листья клена. В лесу пахло прелой землей и грибами. Низко пролетела стая гусей. Совсем недалеко хлопнула шрапнель. Лошадь съехала, присела и понеслась, как угорелая. Ветки стегали по лицу, нанося сильную боль. Снова надвигалось шипение снаряда. Разрыв был в нескольких шагах от меня. Дребезжа ударился о дерево осколок, и я увидела разлетающиеся куски молодой березы. Скорее бы выбраться отсюда. По батарее бьют все чаще и чаще. Наконец огонь перешел влево, я одернула «Гнома» и поехала шагом. Вдруг «Гном» настораживается и тревожно водит ушами.

— Гном, свинья ты такая, не пугай меня, и так страшно.

Проехав немного, я увидела за кустами дымок.

— Гном, перестань водить ушами. Вот еще немного, и мы приедем с тобой в штаб. А может быть, объехать дымок? Довольно трусить! Тоже еще! Гусев, наверное бы, не испугался.

Листья орешника раздвинулись, и оттуда, медленно высовываясь, показался австриец. Совсем молодой. Сердце мое, казалось, перестало жить.

— День добрый.

Мне сразу почему-то вспомнилось, как когда-то дома я поздно возвращалась и встретила пьяного. Несмотря на испуг, я

храбро сама подошла к нему и вежливо-вежливо спросила: «Скажите, пожалуйста, который час»,— я как бы хотела задобрить пьяного. Он был удивлен такой вежливостью и тоже деликатно ответил: «Пожалуйте вот сюда, а потом туда, и там есть часы». И сейчас я обратилась к австрийцу очень вежливо:

— Вы хотите сдатьсь?

Австриец улыбнулся молодой, задорной улыбкой.

— Да. Я больше не буду воевать впустую. Возьмите.

Он протянул мне чистенький карабин, затем отстегнул фляжку.

— Возьмите. Здесь есть ром.

Я отказываюсь от рома, но крепко держу карабин. Австрийцу кажется странной моя вежливость, и он спрашивает меня: «Не кадет ли вы?» Я рассмеялась и отрицательно покачала головой. Он пристально всматривается в мои руки, смотрит на меня и затем, подскочив ко мне, кричит:

— Паненка? Паненка? Так? А я из Кракова. Я на заводе работал. Я молодой слесарь есть.

Пропустив пленного вперед на тропинку, я двигаюсь дальше. Приходится сдерживать лошадь, пленный поминутно оглядывается на меня. Он идет медленно, устало волоча большие, тяжелые ботинки, обутые на тонкие ноги.

— Знаете, что я вам скажу: залезайте сюда, на седло. Садитесь. Мы поедем вместе.

— Я? Я? — австриец тычет себя пальцем в грудь. — Я садиться? Это очень хорошо есть. Садиться.

— Да. Давайте только скорее.

Мы едем вместе. Молча. Каждый с своими мыслями. Со своим раздумьем.

Прибыв на хутор, я объясняю все солдатам. Кругом меня смеются. Пленного уведят. Мне жаль с ним расставаться. Он похож на Сашу. У него такие же синие глаза. Я вспоминаю Шанского: «В своего ж брата стреляем».

Я отпустила подруги «Гному», попросила кого-то сделать проводку, побежала к штабу полка. Пленный нехотя отвечал на задаваемые ему вопросы. Он очень устал. Его отпустили. Конвоир зашагал сзади него. Увидев меня, австриец направился ко мне навстречу, но полицейский одернул его.

— Вот возьмите это. Тут хлеб и пирог с горохом. Махорки дать?

Пленный быстро спрятал хлеб и пирог.

— Махорка? Нет. Это есть. Такие есть. Вам нужно?

Пленный предложил мне сигары.

— Было очень много. Господин поручик там есть... В вашем штабе все взяли. И кроны тоже.

Мне хотелось разговаривать с австрий-

цем, показать его Гусеву, но пленного увели, а Саша вернулся лишь поздно ночью. Я не спала.

— Слесарь, говоришь? Рабочий из Кракова?

*

Полк стал на позицию. После перехода моя лошадь захромала, я поставила ее в околоток и ушла в окопы. Климыч помогал мне чистить селедку.

— Ну, скажи ты, Зин, чего ты домой не едешь? Всяко горе с нами мыкаешь. Что за охота тебе? И в голову не придет. Хотя и привыкла ты до нашей жизни солдатской, а все ж зря здесь сидишь, прямо чудно делается.

— А первое время смотрел я на нее — думал: скиснет в первый же, так сказать, поход. Нет, ничего, гляжу — держится.

— Саша, а пулемет покажешь? Научи меня из пулемета стрелять.

— Вот станем на отдых, научу.

Не один раз солдаты задавали мне вопрос: почему я здесь? Я знала, что каждый из них ушел бы отсюда, убежал, а я оставалась. Я уже не могла уйти. Я привыкла к людям. Тяжело было расстаться с ними. Я узнала здесь новых людей и поняла иную жизнь. Иногда меня тянуло домой, хотелось им все рассказать.

Там, дома, однажды к нам в кухню к

няньке пришел дворник. Я слышала, как он плакал и рассказывал о своем горе.

— Алексеевна, ты подумай, последнего сына на войну угнали. Как я, инвалид, проживу без них? Оттуда разве вернутся? А мне года-то уж уходят. Может, и не свижусь с ними больше.

Мне было непонятно: почему плачет старик? Ведь его сын будет героем.

Это был праздничный, веселый день. В кухню вошел отец. Он сунул дворнику рубль. Старик мялся у порога, не уходил.

— Сына у него, Ваську, на войну забрали,— объяснила Алексеевнушка.

— Ну что ж, гордиться следует. За родину, за отечество будет сражаться. Это отлично.— Отец повернулся и вышел из кухни. Старый дворник комкал в руке фуражку. Никто с ним не заговорил больше. Он тихо открыл дверь.

На пороге, у сбитого им половика, лежал праздничный подарок отца — серебряный рубль.

Может быть, Замбор считал, что он, избивая Климыча, не причинял ему боли? Офицер Замбор знал только одно: он бьет солдата.

— Ты, Зинка, словно моя Ульянка, такая же черная, а меньшая — та не такая, она беленькая, не в наше семейство вдалась.— Климыч внимательно смотрел на меня.

— На, Зин, достал тебе.— Трофим вытянул из кармана носовой маленький платочек и подарил его мне.

— Чего ты задумалась, Зина?— Гусев взял меня за руку и нежно потрепал мои волосы. Последнее время он все добрее и внимательнее относился ко мне.

*

Я вела прибывшее пополнение. Рядом со мной шел прапорщик. При свисте первой пули он низко наклонился, я взглянула на него. При свисте второй пули он сделал иначе: он вмиг наклоняется над сапогом и подтягивает голенища, он это делает так, как будто хочет сказать: «Вот, мол, ты не думай, что я боюсь». Я боялась не меньше, чем он, но я старалась в таких случаях владеть собой, чтобы и этим не вызвать сомнения к себе, как к бойцу.

— Она, ребята, пример нам показывает. Так, что ли, Зина? Вы не глядите, что она девка. Я вот поеду домой, враз свою Катю стрелять научу. Сгодится. Помяните мое слово.— Курносый Башмакин крепко затынулся махоркой.

— И Давид Маркович-то, царство ему небесное, тоже так про нее говорил. Пускай, говорит, привыкает, пускай стрелять учиться, а там видно будет.